Т. Хёйденстрад

Никому не нужные. Бездомность, угнетение и человечность в постсоциалистической России

Глава из диссертации

Това Хёйденстрад — профессор социальной антропологии в Университете Лунда, Швеция. Защитила диссертацию и выпустила первую книгу о стигматизации и социальной изоляции людей в ситуации бездомности, неформальной экономике и стратегиях выживания в контексте экстремальной бедности на примере российского мегаполиса конца 1990-х годов. Текущие исследования сосредоточены на темах национализма, общественных движений, транснационального управления, пола и сексуальности.

Аннотация: Текст представляет собой перевод вводной части диссертации и книги «Никому не нужные», написанной антропологом Товой Хёйденстрад по материалам этнографического исследования бездомности в Петербурге конца 1990-х годов.

Ключевые слова: бездомность, нестабильное и небезопасное жилье, социальная политика, неравенство, этнографический метод.

Для цитирования: *Хёйденстрад, Т.* Никому не нужные. Бездомность, угнетение и человечность в постсоциалистической России / Пер. с англ. М. В. Вятчиной // Пути России. 2025. Т. 3. № 2. С. 18–71.

Перевод с английского **Марии Васильевны Вятчиной** по изданию: (C) докторская диссертация Tova Höjdestrand «Needed by Nobody Homelessness, Humiliation, and Humanness in Post-Socialist Russia», 1 глава. Диссертация практически без изменений легла в основу книги Needed by Nobody: Homelessness and Humanness in Post-Socialist Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009

Размышления о бездомности в постсоциалистической России 20 лет двадцать лет спустя

Предисловие переводчика

Читая работу Товы Хёйденстрад, которая писалась в конце 1990-х–начале 2000-х годов — почти через 20 лет после издания — я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, можно наблюдать некоторые — значительные и даже грандиозные — изменения. Беспризорность как одна из сквозных линий телевизионных фильмов конца 1990-х годов исчезала из медийного поля по мере укрепления ювенальной юстиции. «Ночлежка» не просто нормализовала, а сделала социально одобряемыми волонтерство и фандрайзинг на нужды людей в ситуации бездомности. В медиа по чуть-чуть, но стали появляться материалы, которые сдвигают фокус на структурные ограничения и рассказывают истории людей без жесткого обвинения. Инициированные локальными сообществами проекты по поддержке людей в трудной жизненной ситуации получают финансовую поддержку. С другой стороны, интенсивно разрастаются новые формы эксплуатации и исключения. Объявления о работных домах висят на каждом столбе. Становятся «вирусными» видео, где на камеру издеваются над людьми с улицы. Для множества практических задач технократическое устройство требует владения смартфоном и подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах», а пандемия коронавируса обнажила проблему невозможности социальной изоляции для человека без стабильного жилья. Это буквально первые мысли, которые приходят в голову при чтении изложенных в книге Товы Хёйденстрад историй Вовы, Раи, Светы и многих других.

Я начала читать эту книгу в 2019 году, когда мы вместе с коллегами и единомышленниками взялись за изучение биографическим методом историй людей в ситуации бездомности в Петербурге. В первые же дни несколько мыслей потрясли меня. Во-первых, понимание, что риски стать бездомным чудовищно велики, какой бы огромной ни казалась дистанция. Потерянный паспорт, мошенничество, стихийное бедствие, смерть близкого человека, тюремное заключение — что угодно может инициировать цепочку драматических перемен в биографии. Во-вторых, бездомность экстремально невидима. Горожане «домные» и горожане «бездомные» делят одни и те же улицы, пло-

щади, переходы, лестничные площадки, чердаки, больницы, но как часто они (мы) готовы вступить друг с другом в контакт? В-третьих, бездомность стала стигмой — давно и прочно. Ее окружают невероятные стереотипы, которые в том числе мешают разглядеть за ними человека с ворохом (не)решаемых проблем.

Глядя на различия и новые стороны бездомности в сравнении с ситуацией 1990-х, я соглашаюсь с тем, как аккуратно и зорко исследовательница увидела не только саму бездомность, но и что-то невероятно важное о российском обществе того периода, от последних лет СССР до конца 1990-х. Как историк Шейла Фицпатрик (2008) тонко подмечает в своей статье о советском законодательстве 1960-х, в котором упоминались «бродяги» и «бездельники», настоящими адресатами одобренных тогда законопроектов были совсем другие категории — лица, которые имели «несоветские» трудовые заработки. Прочно прижившиеся в связи с этим законопроектом расчеловечивающие термины «тунеядцы», «паразиты» и «антиобщественное поведение» всё ещё отдаются эхом в современной реальности слов и дискурсов. Возможно, важным шагом для каждого будет отказаться от этих и подобных им слов, унижающих человеческое достоинство. Чудовищно не то, что словом «бомж» тебе напоминают про отсутствие регистрации — кажется, что дело вовсе не в ней как таковой. Ужасно то, что тем самым тебя помещают в рамки, где есть отвращение, безнадежность, пренебрежение, и нет главного — признания тебя как человека.

Далеко не очевидно, что ждало бы героев и героинь книги Хёйденстрад сегодня, спустя 20 лет. Это не только про то, что подолгу выживать на улице или в ситуации нестабильного жилья удается тем, у кого есть определенные ресурсы здоровья, находчивости, кого поддерживают какие-то персональные связи и знакомства. Вместе с длительным опытом жизни на улице приходит старение. Немногочисленные приюты для людей старшего возраста и людей маломобильных дают примеры благотворительности без радужных сценариев перспектив и трудоустройства после кратковременного размещения, адресной поддержки, транзитного жилья. Это истории про взаимное терпение, принятие и смирение, за которое чаще берутся именно религиозные сообщества. Здесь я собиралась написать, что «хотелось бы, чтобы подобных проектов было больше», но я вижу парадокс в собственных словах. Ведь хотелось бы, чтобы бездомности не было вообще, но очевидно, что список причин и факторов бездомности разных типов, от латентной до экстремальной, почти неисчерпаем. В этом долгом списке бедность; гендерное и сексуализированное насилие; сиротство, которое уже в самом начале жизненного пути оставляет человека без прочных социальных связей; войны, которые лишают людей до́ма, ментального и физического здоровья, жизненной определенности.

Очень важным кажется принять и признать, что чем больше разнообразных благотворительных проектов, чем больше направленных на эти проекты ресурсов, и чем больше солидарности — тем мы состоятельнее как человечество.

М. Вятчина

Литература

Fitzpatrick, S. Social parasites. How tramps, idle youth, and busy entrepreneurs impeded the Soviet march to communism // Cahiers du monde russe. Russie-Empire russe-Union soviétique et États indépendants. 2006. Vol. 47. No 1–2. P. 377–408.

Для цитирования: *Вятчина, М.В.* Размышления о бездомности в постсоциалистической России 20 лет двадцать лет спустя. Предисловие переводчика к главе из диссертации Т. Хёйденстрад «Никому не нужные. Бездомность, угнетение и человечность в постсоциалистической России» // Пути России. 2025. Т. 3. № 2. С. 19–21.

Начало

В Оксфордском словаре русского языка 1997 года нет перевода слова «homelessness». Также я не смогла его найти ни в одном из шведско-русских словарей. Этот термин, если бы он существовал, должен был бы звучать как «бездомность», производное от прилагательного «бездомный». Этот термин вполне подходит моему речевому аппарату, в нем нет ощущения неловкости или напряжения, но когда я прошу носителей языка сказать это слово, многие из них приходят в недоумение. После, распробовав его внимательно, они заключают с некоторым удивлением, что действительно — в стандартном русском вокабуляре нет такого слова. Оно должно быть, и, вероятно, недавно кто-то его изобрел. Но они никогда не слышали или не читали его, не говоря уже о том, чтобы использовать его. Более того, если я понимаю корректно словоупотребление в Оксфордском словаре, прилагательное «бездомный» скорее относится к кошкам, чем к людям:

Бездо́м|ный (~ен, ~на) *adj*. homeless; **~ная ко́шка** stray cat

Предлагаемое употребление было корректным до недавнего времени. Мало кто из россиян называет людей, страдающих от явного отсутствия жилья, «бездомными» — даже сами бездомные — но благодаря сознательной и кропотливой работе ряда активистов НКО термин «бездомный» завоевывает все большую популярность, по крайней мере, в средствах массовой информации и в научных кругах. Все остальные говорят *бомж*, или *бомжи* во множественном числе (ударение на последний слог), двусмысленный термин, который в повседневном употреблении означает что-то вроде «бродяга» и которому посвящена значительная часть этого вступления. Не существует никакой альтернативы «бездомности» как социальному феномену или человеческому состоянию, за исключением, пожалуй, «этой жизни» (произносится с отвращением и смирением) — это выражение обычно используют для описания своей ситуации те, кому негде жить. Так делают большинство россиян, когда они чувствуют себя подавленно и пессимистично.

В советское время в таком слове, как бездомность, не было необходимости, поскольку это слово было одним из официально не-существующих — «не упоминаемых». Государство определенно обладало кучей механизмов, чтобы эффективно и систематически лишать людей их жилья, но у него же был ряд законов, которые столь же эффективно отправляли жертв за решетку, если они осмеливались напоминать публике о своем существовании. Этот правовой порядок перестал существовать в конце 1991 года, в то же время, когда уже новые социальные категории лишались своих домов в результате ввода рыночной экономики. Бездомные взрослые не привлекали так мно-

го внимания в потоке социальных бедствий, захлестнувших «новую» Россию, в отличие от беспризорных детей или распавшихся семей и одиозных приютов, из которых они убегали. В шведских газетах я также читала об индустриальном упадке, невыплатах заработных плат, угрозе массовой безработицы, проституции, попрошайничестве, голоде, ухудшении здоровья, ВИЧ и взрывной тяге к наркотикам и алкоголю, и эти же вопросы привносились в мой дом в Стокгольме моими частыми гостями из России. Оглядываясь назад, я нахожу это молчание странным, потому что там очевидно было значительное число бездомных людей, которые появились в публичных местах за относительно короткий промежуток времени. Однако, есть такая главная тенденция — не только в России — практически никогда не осмыслять бездомных людей в терминах, связанных с жильем. Если их вообще видят, я полагаю, что их относят к «алкоголикам» и «попрошайкам». Бездомность имеет странную тенденцию быть заметной и невидимой одновременно — как бы скрытой за всеми людьми, которые ее репрезентируют.

Впервые я услышала слово «бомж» только в 1996 году, когда в течение нескольких месяцев жила в Петербурге, улучшая мой русский язык. Это именно тогда я заметила, что вокруг было много бездомных людей, хотя я, как и другие, не обращала на них внимания. Я не посещала Российскую Федерацию в течение пяти лет, и социальный упадок по сравнению с СССР, по которому я путешествовала несколько раз в позднеперестроечный период, был налицо. Однако это было далеко от образа нищей и оборванной России, быстро умирающей от голода, как любили изображать и средства массовой информации, и мои русские гости в Стокгольме. По прибытии я была почти разочарована — не то чтобы у кого-то из моих знакомых водились деньги, но стоящие на коленях или в лохмотьях нищие встречались только у церквей и в центральных частях Невского проспекта. В остальном известное, отчаянное, бросающееся в глаза страдание держалось на вежливом расстоянии — достаточном, чтобы быть заметным, но также достаточном, чтобы быть проигнорированным и забытым.

В доме, где жили мои друзья, появились неизвестные ночные обитатели. Их никто не видел, но каждым вечером и утром мы слышали шаги по узкой лестнице за заколоченной дверью черного хода, хотя этот проход вел только к пустому, продуваемому всеми ветрами ветхому чердаку. На пустыре неподалеку, у единственной уцелевшей стены дома, разбомбленного немцами 55 лет назад, бедно одетые мужчины и женщины с большими сумками сидели группой у импровизированного костра и выпивали из больших пластиковых бутылок. Во время долгих прогулок по городу, будучи одна или в компании друзей, я часто видела подобные группы в других пустующих местах; там было много таких спотов, до того как городской ландшафт был загромождён новыми зданиями. На вокзалах и на некоторых рынках

пластиковые бутылки также выглядели популярными. По мнению моих друзей, эти бутылки содержали коктейли наподобие тех, которые Венедикт Ерофеев [Ерофеев, 1991] обессмертил в своей классической истории об опустившемся бродяге на бесконечной попойке: метиловый спирт, пиво, полироль для мебели, шампунь от перхоти, одеколон и так далее[1]. (В реальности, этот рецепт гораздо проще: вода из-под крана и любой доступный крепкий алкоголь). Выпивающие не всегда выглядели особенно потертыми, и далеко не все из них бывали очевидно пьяными. Я замечала их и тут же забывала, часто принимая их за слоняющихся людей, кто, подобно мне и моим друзьям, любил гулять по городу с алкоголем.

На одной из таких прогулок холодным зимним вечером я пересекала Марсово поле вместе с русскоязычным другом, приближаясь к Вечному огню и мемориалу Неизвестному солдату, где обычно фотографировались новобрачные. Какой-то пожилой мужчина склонился над гравировкой на одном из мраморных блоков, окружающих мемориал. Это было посвящение жертвам Блокады во время Великой Отечественной войны, и, судя по всему, мужчина снимал копию с текста, увлеченно водя мелком по большому листу бумаги, положенному сверху. Он выглядел как Лев Толстой, хотя его аккуратно составленный фольклорный стиль был заметно шикарнее всего, что когда-либо носил знаменитый писатель. Мы поравнялись с ним и спросили, что он делает. Он встал, пристально посмотрел на нас и сказал, что собирается отправить эти копии в международный суд в Гааге вместе с заявлением против российского государства. Возбуждаясь все сильнее, он продолжал говорить, но делал это слишком быстро, чтобы я могла уловить все, что он говорит. Речь шла о злодеях-родственниках и коррумпированных чиновниках, причем последние, видимо, были важнее, поскольку он хотел подать в суд на государство. «Понимаете, — яростно закончил он, — *они сделали меня каким-то бомжом*!» Он достал свой внутренний паспорт — документ, удостоверяющий личность — и показал его моему другу, который вежливо осмотрел его и кивнул в знак согласия. Я спросила их, что значит бомж. «Грязный вшивый пьяница» — прорычал мужчина. «Что-то вроде нищего — как те, кого мы видели повсюду во время этой прогулки, — объяснил мой друг, — бедные, которым

[1] Мне очень нравится эта сатира на советское общество и его «менталитет», и я могла бы использовать ее для освещения некоторых аспектов моего собственного этнографического материала. Однако я воздерживаюсь от этого, потому что резкое чувство юмора Ерофеевского «бомжа» рискует перекинуться на персонажей этого исследования. Проблема не столько в самой иронии, сколько в том факте, что люди, которых я знала, вполне были способны производить ее по собственному желанию. Без всякого вымысла, за это им стоит отдать должное.

негде жить. Знаешь, как те, что на чердаке». Я поняла, что бомж — это бездомный и спросила пожилого мужчину, где он сейчас ночует. «Там, где я всегда жил» — нетерпеливо ответил он, «то есть живу до тех пор, пока они меня не вышвырнут. Но дело не в этом — я говорю, что *они сделали меня каким-то бомжом*! Как будто я всю жизнь не работал, как будто я преступник или что-то вроде того, как будто я никому не нужен — как будто я не *человек*!» После этой последней вспышки он внезапно потерял к нам интерес и вернулся к своему занятию, упорно игнорируя наши дальнейшие вопросы. Мой друг пожал плечами, и мы отправились за выпивкой в один из дешевых баров, которые еще существовали в этом районе в то время.

Я забыла об этом пожилом человеке до тех пор, пока парой лет позже не поступила на PhD программу по антропологии и не выбрала бездомность в России как тему своей диссертации. Потребовался период полевой работы и еще пара лет, чтобы осознать, что он уже снабдил меня базовыми концептами для этой диссертации. Во время моей полевой работы в Петербурге в 1999 году я слышала фразу «никому не нужные» более или менее каждый день, и эти слова «человек», «люди» и *бомж* повторялись так часто, как если бы изучались связи между социальным контекстом и индивидуальным опытом болезни, «как будто бы я не человек» или аффирмативное «в конце концов, мы тоже люди». О бомжах часто говорят как об остатках, грязи, дерьме, дряни, гадости или просто «брошенных». Те, кто чаще всего использовал эти уничижительные образы были сами в ситуации бездомности, как будто им было нужно отвергнуть негативные характеристики стереотипного бомжа исключительно потому что они могли быть атрибутированы другими как бомжи. Но обычно бездомные люди склонны ограничивать презрение через более гибкую категорию «типичный бомж». Преимуществом типичного бомжа было то, что он (как я покажу далее, это в действительности он) — это всегда кто-то другой или, в крайнем случае, пессимистичное видение себя в будущем, но никогда не саморепрезентация себя в настоящем.

Кроме того, что бомжи оказываются отбросами на социальной сцене, они еще буквально живут в остатках и за их счет — в забытых уголках городского ландшафта, за счет объектов и задач, нежеланных для других — и от них также ожидается быть физически грязными. Как оказывается, они — воплощение грязи, словами Мэри Дуглас [Douglas, 1966, p. 34], «не на своем месте», выброшенные, потому что они никому не нужны. Это выражение передает чувство отверженности, одиночества или никчемности в более общем смысле слова. Также оно подразумевает беззащитность, ведь быть никому не нужным это не то же самое, что остаться в одиночестве в пустыне. Вместо этого, оно подразумевает безжалостное воздействие Отчужденности, жестокое вторжение внешнего мира в то, что по словам Линдквист [Lindquist, 2005], сравнимо с набегами грязи на ухоженный дом или

даже на собственное тело [Lindquist, 2005, p.107]. Дилемма для тех, кто больше не нужен, заключается в том, что в то время как они чувствуют *вторжение* угрожающего внешнего мира, другие считают, что это именно они *представляют собой* эту внешнюю угрозу.

«Нужность» означает принадлежность к чему-то и состояние защищенности — это своего рода почва, в которой культивируются человеческие существа и без которой они могут быть уничтожены агрессивными сорняками. «Если с тобой обращаются как с дерьмом», сказал мне мой собеседник, «ты начинаешь чувствовать себя именно так, и тогда ты превращаешься в кусок говна». Другие вызывают образы «этой жизни», бездомности, как живого существа, которое творит с людьми разные вещи: сдирает слой за слоем человечность, пока не остается только голый бомж, который, несмотря на то, что его бесспорно относят к виду homo sapiens, не способен и не хочет быть «нужным» другим. Вот что значит быть бомжом: восприниматься как ненужный отброс на всех социальных уровнях. Как указал старик, квартирный вопрос на самом деле не имеет принципиального значения: на кону стоит человеческое достоинство.

Эта книга изучает те социальные процессы, которые сделали людей «ненужными» в современной России, и те ответы, которые это исключение порождает среди исключенных. Я использую выражение «никому не нужные» как организующий концепт, потому что это понятие, по словам Артура Клейнмана [Kleinman, 1991], является тем, что поставлено на карту для тех людей, о которых идет речь в этой книге — это суть существования, которое они описывают как «эту жизнь». Клейнман, феноменологически ориентированный медицинский антрополог, предложил термин «поставленное на карту», чтобы изучить связь между социальным контекстом и индивидуальным опытом болезни. На контрасте, я подхожу к «ненужности» как к социальному феномену, который транслируется в академическом дискурсе в терминах социального исключения или социальной принадлежности (вернее, ее отсутствия), и я фокусируюсь на социальных отношениях, которые формируют и согласовывают «ненужность». Книга организована в соответствии с социальным контекстом, в котором «ненужность» переживается бездомными субъектами наиболее ощутимо — по-иному, но в переплетении с кластерами социальных отношений, которые, далекие от точки зрения бездомного, имеют свои собственные режимы исключения и инклюзии. Это беспокоит государство и формальную социальную структуру; социальные отношения мира работы; городской ландшафт, в котором располагаются физические тела; неформальные социальные сети из периода жизни до бездомности; и социальные отношения между бездомными. Через это развиваются понятия отбросов и грязи, которые я приношу в буквальном смысле, фокусируясь на чистоте и физическом появлении. Сама по себе

это «сфера», в которой происходит социальное взаимодействие, но оно является как фундаментальным порогом для тех, о ком здесь идет речь, так и основной ареной, на которой разворачивается битва между человечностью и «бомжовостью».

Человек

В концептуальном мире людей, с которыми я встречалась во время полевой работы, те, кто «никому не нужен», не являются настоящими людьми, и «человечность»[2] также была постоянной темой в их комментариях о себе и их ситуации: «как будто я не человек»; «мы вообще-то тоже люди!»; «после разговора с ней я снова почувствовал себя человеком» и так далее. Однако, «человек» это не двусмысленное понятие, и эта книга скорее история о часто странном сосуществовании двух независимых, но в моем понимании различных артикуляций. Первое и наиболее частое использование этого слова это синонимично «быть нужным»: быть взаимопонимающим со-актором в практическом ежедневном мире рутинных обязательств, социальной вселенной, конвенционально понимаемой как «общество». «Социальный агент» или «социальный человек», как я обозначаю это конкретное значение, это русскоязычная артикуляция того, что антропологи обычно называют «социальной личностью», как например это сформулировал Грейс Харрис [Harris, 1989]: «человеческое существо, публично рассматриваемое как агент […], имеющее определенное положение (не «статус») в социальном порядке, как агент в обществе […] быть «кем-то», кто является автором поведения, трактуемого как действие» [Harris, 1989, p. 602][3]. Подчеркивание взаимозависимости, кооперации и инклюзивности сильнее, чем во многих современных западных конструкциях социальной личности, но, как я покажу, этот «коллективизм» не так вездесущ

[2] Я предпочитаю слово «человечность» слову «гуманность», когда я обсуждаю характеристики того, что значить быть человеческим существом, чтобы избежать путаницы с «человечеством», которая является последним термином для обсуждения.

[3] Эта борьба за то, чтобы оставаться «человеком» обычно может описываться как квест за «идентичность», но я не нахожу это понятие достаточно подходящим. Я интерпретирую эту необычность и высоко-конкурентный концепт в терминах «Барта», как контекстуально определенное чувство кем человек является в отношении более или менее условного Другого [Boon, 1982]. Однако, моих бездомных информантов волнует не то, чтобы как-то выделиться, а право определять себя как человека вообще. «Типичный» бомж конструируется как отсутствие черт, определяющих человека как такового, не «россиянина», «пенсионера», «работника» и т. д.

и двусмысленен, как вездесущи частые стереотипы о «Советской/Российской стадной ментальности»[4].

«Реальные» люди — это ответственные со-акторы. Но бездомные люди выброшены из социального контекста, в котором производятся значения «очеловечивающих действий»; парадоксальная штука про инклюзию заключается в том, что только «инсайдерам» дается шанс соответствовать ожиданиям, которые нужны для членства. Говоря прямо, сложно назвать себя прилежным работником, когда у вас нет работы, или ночевать в квартире, если никто не впускает вас в дверь. Вместо этого, доступный выбор для бездомных состоит в том, что людей заставляют делать то, что никто не хочет делать с самого начала, и, более того, без понятия, принесет это доход или разрушение. При таких ограниченных возможностях влиять на свои действия мы можем говорить об «ограниченной агентности», если понимать под агентностью реальную способность добиваться реализации собственных намерений. С другой стороны, бездомная жизнь определенно предполагает агентность, которая понимается как врожденная способность человека влиять на окружение. Постоянная тема в этой книге это «импровизация», потому что бездомным людям приходится обходиться импровизацией: как в отношении базового выживания, так и в переговорах и переопределениях «гуманизирующих» действий, к которым они прибегают, чтобы поддерживать чувство «быть человеком». Способность сводить концы с концами это также, по их словам, дело желания и силы. Эта «сила воли» больше, чем намерение; она должна быть манифестирована в физическом мире, чтобы быть принятой во внимание. Эту идею можно увидеть как своеобразный вариант антропологической «агентности», которая испытывается не столько как «выход за пределы мира», сколько как «сопротивление выходящей за пределы мира силе»: противостоять непрекращающимся атакам грязи и вшей, ходить прямо, несмотря на мучительное похмелье, не позволять собственным холодным ногам становиться причиной кражи соседской обуви[5].

[4] Православное христианство традиционно не поощряет индивидуальные усилия в материальном мире, а в России на протяжении 70 лет господствовала государственная идеология, считавшая единственным путем к индивидуальной самореализации искреннее участие в коллективе и безоговорочное ему подчинение [ср. Хархордин, 2000]. Взаимозависимость — или ее негативный двойник «конформизм» — весьма заметна и в национальных самоописаниях. За 15 лет общения с россиянами я слышала бесконечное множество вариаций развития этой темы — от самокритичных сетований на «советское стадное чувство» и связанные с ним препятствования индивидуальной инициативе до раздраженных проклятий в адрес патологически самодостаточных шведов.

[5] Как отмечают, например, Линквист [Lindquist, 2005, p. 7f] и Грэхем [Graham, 1999, p. 25], понятие «агентность» неоднозначно, поскольку оно основывается на культурно (читай:

Если «социальные агенты», или «социальные личности», действуют и взаимодействуют в конкретном обществе, где происходит ежедневное выживание, другая предоминантная артикуляция человечности относится исключительно к тому, что Виктор Тёрнер [Turner, 1974] назвал анти-структурой: радикально отличающаяся «социальная модальность», или способ переживания и отношения к социальному существованию, в которой люди рассматриваются как индивидуальные личности, объединенные с другими равно уникальными личностями в универсальной общности. Этот тип человеческого существования не антитеза «бомжу» по простой причине, что его универсализирующая возможность стирает социальные различия такого рода. В антропологии такая сконструированная идея аутентичного ядра сознания и эмоции иногда рассматривается как «самость», в отличие от того, что иногда рассматривается как «социальные роли», «социальный персонаж» или «персона» — менее естественная версия нас самих, которые мы демонстрируем как агенты-в-действующем-обществе[6]. Мосс [Mauss, 1985] изучал исторически заданное разделение между этими двумя идеями в западном мире, а, например, Кариферс [Carrithers, 1985] работал над той же самой темой. Культуры, в которых нет распределения между публичным и приватным, не проводят различий между «приватной самостью» и «публичными персонами» [ср. Rosaldo, 1984], но в России это различие существенно.

Эта идея «настоящего селф» неразрывно связана с идеей «души», которая провозглашается как предполагаемая суть «русской культуры» и имеет аллюзии в поговорках, подобных той, которой известен Уинстон Черчилль: «окутанная тайной загадка, помещенная внутрь головоломки». Свойства души часто сравнивают с огромными, непроходимыми землями России с их неясными границами [Medvedev, 1999]

западно) обоснованной предпосылке, что, во-первых, человек всегда склонен действовать, а во-вторых, что он вообще способен это делать. Однако, как утверждают оба автора, эта концепция не включает в себя сдерживающие свойства социальных и культурных контекстов, в которых, предположительно, следует действовать. Другой предпосылкой, как мне кажется, является то, что люди настроены действовать как индивиды, а не как стадные животные. Агентность включется намеренно, но я нахожу неочевидным, как индивидуальное желание соотносится с коллективными ожиданиями, и имеет ли мое желание действовать противоречиво большую «ценность» с точки зрения агентности, чем мои привычные исполнения культурных и социальных ожиданий. Чтобы избежать этих неясностей, я придерживаюсь вышеупомянутых локальных терминов.

[6] Концепт «самости» иногда приводит к путанице, поскольку он также используется, чтобы описывать аналитические различия между эпистемологическими перспективами, как это выразил Харрис [Harris, 1989]: «*индивид* как член человеческого рода, *самость* как локус опыта и *личность* как агент в обществе» [Harris, 1989, p. 599, — *курсив ТХ*].

и в литературном значении они часто возникают как «анти-структурные», поскольку они артикулируются как антитеза всем формам рациональности и организации. Эта идея души возводит в ранг «истинно человеческих» такие свойства, как иррациональность, парадоксальность, интуиция, непредсказуемость и даже безрассудную анархию, а склонность к противоречиям превращает страдания и слабости в добродетели.

В первую очередь, я отсылаю свои наблюдения «ежедневной душевности» к прекрасным этнографическим исследованиям на эту тему, выполненным Песмен и Рис [Pesmen, 2000; Ries, 1999]. Обыденные высказывания в моем поле часто были связаны с великодушием, человеческой теплотой, искренностью, избранностью (включающей равенство), совестью и, наконец, выпиванием, которое одновременно было выражением и движущей силой душевности. Говоря словами Песмен: «Если душа была главным тропом для многих ценностей в жизни в России, выпивка была главным тропом для аспектов души» [Pesmen, 2000, p. 187]. Главной, как подчеркивают оба эти автора, была способность глубоко чувствовать, и это действительно было в данном контексте и это эмоционально отражалось в мире «человека», который я узнала из разговоров с моими информантами. Они редко произносили слово «душа», и поскольку наиболее важной гранью для них была способность испытывать и выражать совместность с другими людьми, я часто буду описывать «анти-структурный» способ человеческого существования как «братскую человечность», за исключением тех случаев, когда я буду делать прямые аллюзии к «душе».

Стереотипизируя «бомжа»

Отметка в паспорте обладает силой превращать индивида в зараженного вшами алкоголика, и эта сила кроется в двусмысленности одного слова. С одной стороны, слово «бомж» — это официальный акроним для выражения «без определенного места жительства», которое означает человека без так называемой прописки, то есть обязательной постоянной регистрации по адресу, на основании которого реализуются гражданские права и социальные услуги. Без прописки человек не существует с точки зрения государства, так что пожилой мужчина у Вечного огня был «бомжом» в юридическом смысле. Из-за этого он был лишен пенсии, медицинского страхования, права голосовать и возможности получить постоянную работу. Он не мог больше пользоваться муниципальным жильем, хотя очевидно, что он все еще мог там жить. Как официально не существующий, он не имел доступа ни к каким формам социальной поддержки, предоставляемых

государством — в том числе, к муниципальному жилью, если бы его выселили из той квартиры. Независимо от его уважения действующих правовых порядков, он был нарушителем закона, поскольку отсутствие регистрации в постоянном жилье является административным нарушением. Однако в настоящее время это накладывает только штраф, не тюремное заключение, как это было в советский период.

Но не это было основным поводом для его злости, когда мы встретили его у Вечного огня. Единственное, что имело значение в тот момент, была отметка в паспорте, которая определяла его как бомжа, по его мнению, также намекая на то, что он был бомжом в другом, более распространенном значении этого слова: опустившимся. Начиная с 1970х, другие термины для этого стереотипа постепенно замещались в обычной речь официальным акронимом, и сегодня бомж — это более распространенное слово, чем бродяга или более неформальное «бич», шутливый акроним для выражения «бывший интеллигентный человек». (Изначально оно отсылало к интеллектуалам, которые попали в заключении при Сталине и не имели места проживания до освобождения при Хрущеве, но эта связь с образованием давно ушла [см. Лиходей, 2003].) В 1990-е, слово «бездомный» было введено в обиход неправительственными организациями, которые планировали изменить основной уничижительный дискурс, но оно не использовалось обычными россиянами или правоприменителями.

Эта книга преимущественно о людях, которые не имели конвенционального жилья, нежели о «бомжах» в административном смысле, но между этими категориями нет четко очерченных границ. Во-первых, многие из тех, у кого есть доступ к более или менее временному жилью, рано или поздно вынуждены использовать пустующие чердаки. Это всего лишь вопрос различных полюсов континуума, по которому движутся индивиды, иногда переходя в ту или другую сторону между ночлегом на улице и вписками у знакомых, но часто только в одном направлении, все сильнее и бесповоротнее удаляясь от таких явлений, как «кровать», «запертые двери» или «друзья». Во-вторых, как отметил тот пожилой мужчина, на концептуальном уровне тоже нет четкой разницы. В этой книге я провожу различие между этими двумя значениями, когда пишу официальный акроним заглавными буквами — БОМЖ или БОМЖи во множественном числе. Бомж в значении «достигший дна» я пишу строчными буквами — «бомж» или «бомжи». Это различие используется исключительно мной; для мужчины у Вечного огня одно значение подразумевает другое, несмотря на громадную разницу между административным статусом и стереотипной карикатурой бродяги.

Не иметь прописку для людей — определенно не редкость. В 1999 году по примерным оценкам 3 миллиона российских граждан (около 2% населения) не имели прописки, из них от 50 до 200 тысяч человек жили в Петербурге (что составляет от 1 до 4% населения

города)[7]. Подавляющее большинство имеют нестабильные жилищные условия и работу, но этот факт обычно недооценивается как обществом, так и государством. Те, у кого нет только прописки, редко применяют к себе термин «бомж», но рано или поздно это выражение используется милицией, чиновниками и другими, кто видит их документы. Тот пожилой человек был не единственным из тех, кого я встречала, кто вдруг с отвращением и обидой обнаруживал, что между ним и обитателями лестничных площадок проводятся параллели только по причине отметки в паспорте. Другие находили эту ошибку комичной, в частности хорошо выглядящие молодые женщины, которые почти с радостью делились: «Каждый раз, когда я говорю кому-нибудь, что у меня нет прописки, они говорят: О, так ты бомж, но... ты так не *выглядишь*». Они знают, что их молодость и красота не сочетаются с ярлыком «бомжа», прямо указывая на это противоречие, но людей с меньшей способностью противостоять ярлыкам это забавляет гораздо меньше. Я выяснила силу этого слова в самые первые дни моего полевого исследования, когда я включила слово «бомж» в вопросы о том, имеют ли люди прописку. Я часто переформулировала мой вопросник — либо мои собеседники не понимали меня, либо они оказывались всерьез задеты и выдавали раздраженные ответы наподобие «Бомж? Ну, по документам, возможно, но не по-настоящему!», «Ты не должна задавать такие наглые вопросы старшим людям, гражданочка!» или «И что? Я теперь не человек?».

Концептуальная путаница распространяется также на государство и его чиновников. Этот текст ниже взят из небольшого социологического исследования, нацеленного на чиновников и законодателей, крайне предвзятая и злобная публикация, которая, к сожалению, вполне соответствует существующему в обществу отношению к «бомжам».

Лицо без определенного места жительства или прописки[8] *— это лицо, которое в настоящий момент находится на российской терри-*

[7] Эти оценки ситуации в России в целом были сделаны «Врачами без границ» в середине 1990-х, но я не знаю на каком основании. Цифры по Петербургу базируются на данных из больниц, моргов и полиции, которые были собраны «Врачами без границ» и «Ночлежкой» в 1994 году. Что касается последних цифр, то 200 тысяч, на мой взгляд, звучит более правдоподобно, поскольку БОМЖей (как объясняется в Главе 2) в крупных городах больше, чем где бы то ни было. По данным тех же организаций, в 2002 году в Петербурге буквально «оставшихся без крыши над головой» было около 9 тысяч человек, но я не представляю, откуда взялась эта оценка.

[8] Эти авторы отсылают к советской формальной аббревиатуре БОМЖ — «без определенного места жительства» или, как написано здесь, без определенного места проживания

тории, у которого, как правило, нет документов, подтверждающих личность и прописку, у кого нет постоянного места жительства на территории, где лицо находится, кто в настоящий момент не имеет работы или занятости и, следовательно, также средств к существованию, кто, как правило, имеет признаки болезни (ментальных болезней, алкоголизма, туберкулеза, венерических заболеваний), поражения вшами и т. д, внешний вид, который не соответствует общечеловеческим нормам (грязная одежда, грязное тело), признаки деградации человека как личности[9].

Здесь бомж определяется в терминах административного статуса («без постоянного места прописки»), после чего сужается до безработицы, плохого здоровья, грязи и, наконец, личности и ее «деградации». Там также есть определенные характеристики, которые просто используются некритично в остальной части исследования. Прямо говорится, что «вся масса» потеряла свои места проживания после демонтажа советской системы принудительной алкогольной реабилитации [Юликова, Новикова, Маршак, 1997, с. 1]. Плохая гигиена считается само собой разумеющейся до такой степени, что авторы предлагают создать полностью сегрегированную систему медицинских и социальных услуг для бомжей, чтобы они не «заражали» болезнями персонал и других посетителей [Юликова, Новикова, Маршак, 1997, с. 43]. Образ жизни бомжей постоянно определяется как «бродяжничество», которое постоянно дополняется словом «попрошайничество».

Государственный дискурс часто опускает термин «бомж» в пользу «бродяжничества», которое я рассматриваю как попытку определить конкретную категорию. Однако в паре законопроектов, которые никогда не были приняты, отсутствие прописки это не что иное, как первый определяющий критерий «человека, вовлеченного в бродяжничество», которое сопровождается такими характеристиками как безработица и более размытое «путешествие по всей Российской Федерации». Таким образом, предложения законодателей распространяются на БОМЖей, а не на безработных путников, независимо от того, идет ли речь об адресной социальной поддержке (относительно хороший законопроект 2000 года) или о 15 днях лишения свободы за «бродяжничество» (более суровый законопроект 2003 го-

или занятости. «Занятость» перестала иметь значение, когда в 1991 году долгосрочная безработность была декриминализована.

[9] Проблемы лиц без определенного места жительства (БОМЖ) и пути решения. Брошюра, опубликованная в 1997 году Министерством труда и социального развития [Юликова, Новикова, Маршак, 1997, с. 12]

да)[10]. То же самое касается предложений, представленных Юликовой и др., самым ужасным из которых является тюремное заключение и принудительный труд для тех «бомжей», которые, как считается, не желают работать [Юликова, Новикова, Маршак, 1997, с. 33].

Главный фокус Юликовой и др. — подтвердить или опровергнуть широко распространенную идею, что бомжи отказываются от работы и жилья по собственной воле. Государственный и «низовой» дискурсы склонны игнорировать, что легче стать бездомным и гораздо сложнее прекратить им быть, если ты официально отрезан от рынка труда и лишен буквально всех гражданских прав. Таким образом, Юликова и др. выясняют готовность бомжей вернуться к комфортной жизни без единого упоминания о том, *почему* некоторые из них не ищут активно работу и жилье. Одна из вероятных причин — это то, что по закону они не могут претендовать ни на то, ни на другое, но эти исследователи не ищут субъективных мотивов, как и не упоминают систему прописки. Вместо этого, все просто списывается на лень бездомных людей [Юликова, Новикова, Маршак, 1997, с. 25].

Поскольку государство не хочет критики института прописки, я не удивлена тенденции «винить жертву» в законопроектах и других текстах, которые производятся государственными чиновниками. Беспокоит то, что обычные люди тоже поддерживают идею «добровольной бездомности», в отличие от самих бездомных людей и активистов, которые пытаются им помочь. Буквально во всех дискуссиях по этой теме (довольно многочисленных, поскольку большинство людей, которых я встречаю, имеют свою точку зрения на мою «странную» работу), я подчеркиваю эту связь между бездомностью, пропиской и горой социальных проблем, но мои собеседники остаются равнодушны к этим аргументам. По их мнению, ни система, ни царящий *бардак* не являются удовлетворяющими объяснениями. Они спорят со мной, утверждая, что государство подавляет каждого и что каждый проходит в настоящий момент через эти изменения. Должна быть причина, почему некоторые люди справляются лучше, а другие хуже. Свободный выбор — это стандартное решение вопроса «почему этот конкретный человек и почему конкретно сейчас».

Эта идея добровольного выбора не только сводится к причинам, но еще и расширяется до поведения в целом. Как уже упоминалось, бездомным трудно действовать социально приемлемым образом, но даже если отягчающие обстоятельства носят внешний характер, их неспособность соответствовать социальным ожиданиям связывается с их личными качествами. Таким образом, им отказывают

[10] О социальной реабилитации лиц занимающихся бродяжничеством (2000), О внесении изменений в дополнении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной профилактики бродяжничества (2003).

в персонификации подобно тому, как в современных обществах дети и люди с ментальными заболеваниями не считаются дееспособными. Эти недостатки, о которых часто упоминают как бездомные, так и все остальные, затрагивают долг и ответственность. Работа является самым важным из них, частично совпадая с семейными обязанностями. Гигиена, как правило, формулируется как обязанность перед другими, а не как врожденная потребность, что также относится к трезвости; предполагается, что пьянство — это способ уйти от ответственности. Некоторые даже считают наличие жилья долгом, когда критикуют бомжей за их предполагаемую жажду бродяжничества. Тем самым бомжи фреймируются как антисоциальные люди, выпадающие из моральной общности, к которой относятся все остальные. Их предполагаемый отказ работать и действовать как ответственные члены семьи могут быть фреймированы как сознательное решение, но это также выражается как следствие других желаний, которые я бы назвала «преднамеренной слабостью»: «поскольку он хочет выпивать и не работать, он также хочет быть бездомным»[11].

Моральное отклонение и недоброжелательность, я полагаю, первое что попадается под руку, когда ничто другое не может определить воспринимаемую Инаковость. Рассуждая о беженцах, Малкки [Malkki, 1992] замечает, что «перемещаемых» людей всегда стремятся определять как аномалии, «материю вне своего места» [Malkki, 1992, p. 34]. То же самое относится и к бездомным людям, но их странность нельзя объяснить в терминах этничности или «иностранности». Они не «грязь», привнесенная извне, а внутреннее загрязнение, целиком произведенное тут, и если ничто другое не может определить их как категорию, то это должен сделать их характер. В западных странах «бродяжничество» тоже осуждалось на уровне индивидуальных моральных недостатков, пока этот дискурс не был смягчен за счет ориентированной на благосостояние парадигмы, подчеркивающей сначала «социальную дезаффилированность», а позднее медицинские патологии (на эволюции этого я остановлюсь подробнее ниже). С другой стороны, бездомность в Советском Союзе была криминали-

[11] «Добровольная бездомность» также обсуждается в большинстве русскоязычных академических текстов о бездомности. Ничего нет удивительного в том, что более ранний текст Юликовой [Юликова, 1994, с. 237] идентифицирует категорию добровольно бездомных, и это же делают Бейгуленко [Beigulenko, 1999, p. 224] и Зыков [Зыков, 1999, с. 157], которые в остальном подчеркивают социоструктурные корни бездомности. [...]. Карлинский [Карлинский, 2004, с. 30] выступает против широко распространенной идеи о бездомности, вызванной «добровольностью»: дромомания — диагноз советской психиатрии, обозначающий неконтролируемую тягу к перемещениям. Согласны ли с этим авторы или нет, они знают, что с идеей о добровольной бездомности нужно бороться, потому что эта идея прочно укоренилась в популярном образе бомжа.

зирована вплоть до 1991 года, и государство с тех пор не предпринимало никаких попыток определить «территориальных неудачников» иначе, чем злонамеренную, морально деградирующую угрозу социальному порядку.

У людей в целом нет альтернативного «большого нарратива» о том, откуда берутся условные ночующие в их парадных, но они могут себе позволить быть непоследовательными. В ходе исследования об отношении к бездомным в Петербурге выяснилось, как запросто осуждение и отвращение переплетаются с эмпатией и сочувствием [Герасимова, 1998]. По моему собственному опыту, те, кто наиболее яростно утверждают, что «чертовы бомжи» должны быть высланы в Сибирь, если они не «изменят поведение», в следующий момент могут спросить, что они должны сделать, чтобы помочь бедным горемыкам. Я понимаю, что эта амбивалентность присуща самому «волонтерскому взгляду». Во-первых, воля бомжей неоднозначна. Даже если стать и оставаться бомжом фреймируется как проявление воли, бомжи как личности описываются не более чем дряблые комочки условных рефлексов. Парадоксальный результат заключается в том, что большая сила воли нужна, чтобы избавиться от этого. Во-вторых, воля уязвима перед изменениями — в особенности если предполагается, что она определяется выпивкой. Ни один русский не отправляется в двухнедельный запой и не приходит в себя чеченцем, но он может в действительности управлять превращением себя в бомжа в это время. Таким образом, инаковость бомжей — это скорее потенциал, который живет внутри каждого человека, нежели внешнее различие между неизменными «мы» и «они». Сами бездомные болезненно осознают свою принадлежность к «бомжам» как то, что может в любой момент вспыхнуть внутри них, в то время как не-бездомные люди склонны подспудно намекать на эту возможность в комментариях, шутках или размышлениях.

Иногда мои собеседники — даже те, кто поддерживали насильственную высылку бездомных — предполагали, с печальным вздохом, что бомжи, вероятно, — просто «слабые люди», лишенные силы, необходимой для борьбы с радикальными социальными изменениями последних полутора десятилетий. Говоря о бомжах как о несчастных жертвах, они получают оттенок духовной или моральной доброты. Как было подробно описано в других работах, понятие «душа» включает в себя сильную идеологическую составляющую, которая на более общем уровне одобряет виктимизацию и жертвенность, а также ставит под сомнение рациональность и целенаправленную деятельность [см. Ries, 1997; Pesmen, 2000]. Более того, в 1990-е годы противоположные стереотипы были совсем не позитивными: «сильные» мира сего олицетворялись такими ненавистными и презираемыми категориями, как новые русские, мафия и Кремль. Однако эта ассоциация не была так распространена в сравнении с менее симпатичными

репрезентациями, и ее практически не было среди самих бездомных. Как отмечает Песмен, страдание может разрушить и душу [Pesmen, 2000, p. 39], и мои информанты определенно не считали свою повседневную борьбу облагораживающей. Наиболее жалким аспектом «этой жизни» было то, что она заставляла людей концентрироваться исключительно на самых обыденных и приземленных аспектах непосредственного настоящего, что не способствовало ничему, кроме эгоизма и безжалостности в ущерб услужливости и лояльности[12].

Есть такой жанр анекдотов, которые изображают «типичного» россиянина в той же антиобщественной манере, как характеризуют бомжей. В бесчисленных историях на тему «немец, англичанин и русский», русский предстает как ленивый, тупой, недисциплинированный негодяй, который, несмотря на определенную хитрость, мало что делает, кроме как пьет, обманывает и ворует, но тем не менее он побеждает рациональных и нравственных представителей Запада. Одна из интерпретаций этих анекдотов связывает их с традиционными изображениями озорных героев из народа, отыгрывающихся на сильных, что сродни одновременно насмешливой и добродушной саморепрезентации нерациональных и неуправляемых низов, отрицающих советскую дисциплину [Ries 1997, p. 65–80]. Впрочем, здесь есть определенные параллели между национальным самовосприятием, отраженным в этих историях, и одним конкретным объяснением бездомности, сформулированным как в академических текстах, так и отдельными людьми, включая моих собственных информантов. Этот нарратив можно также рассматривать как яростный и неумолимый вариант темы «они слишком слабые, чтобы справляться в сегодняшнем суровом социальном климате». Наиболее точное резюме мне дала бездомная женщина, 60-летняя бывшая пианистка, которую звали Ирина.

«*Экскременты* государства», сказала Ирина, «вот что они из себя представляют, эти проклятые бомжи. Почему? Потому что «*совок*», конечно же». «Государство привело все населению к тому, чтобы стать бомжами, сделало всех ленивыми, безответственными, аморальными, некультурными. Об этих идиотах заботились до тех пор,

[12] Возможно, это то, что обычная россиянка сказала бы о своей повседневной жизни, хотя она бы передала это термином «быт», уничижительным термином, обозначающим материальные повседневные заботы, которые, считается, подавляют душевность [см. Pesmen, 2000, p. 46–51]. Это слово прочно ассоциируется с домашним хозяйством и рутинными обязанностями и как таковое несколько неуместно в контексте бездомности, но быт и бездомная «такая жизнь» имеют одну и ту же убивающую душу фрагментацию и рассеяние как людей, так и чувств и мыслей. Эта боль заключается в невозможности оторвать взгляд от непосредственного настоящего и погрузиться в некое высшее существование, и в этом смысле домашняя рутина удивительно похожа на совершенно недомашнюю непредсказуемость бездомной повседневности.

пока они не стали просить слишком много, но потом все рухнуло, и теперь ничто не останавливает их от того, чтобы добраться до своего истинного предназначения — вон тех мусорных свалок». Ирина подчеркивает влияние, которое это «советское оглупление» имело на отдельных людей, в то время как, например, Гилинский и др. [Гилинский и др., 1993] фокусируются на системных аспектах. По их мнению, революция, гражданская война, сталинские чистки и система, которая отдавала предпочтение посредственностям, а не одаренным, привели к буквальному уничтожению в этой стране хороших мозгов и хронической неспособности развивать то, что от них осталось. Такое общество, организованное и управляемое как нерациональное, неэффективное и бесчестное, каким был Советский Союз, должно столкнуться с социальной, моральной и даже физической деградацией. Я читала и слышала об этой теории утечки мозгов больше в начале перестройки, чем в последующие годы [более детально см. Стариков, 1989], но вариации этого все еще по-прежнему озвучиваются, когда я говорю с частными лицами о бездомности.

В качестве последнего комментария о стереотипах о бомжах нужно указать, что это всегда «он». Официальный дискурс обычно добавляют в определение сочетание «обоих полов», но женщины практически отсутствуют как в аналитических работах, так и в повседневных дискуссиях. Причина тут не в культурной гендерной слепоте, а в том же отождествлении феминности с домашним очагом, которое еще несколько десятилетий назад делало бездомных женщин на Западе такими же невидимыми [см. Wardhaugh, 2000]. В России это само собой разумеется, что женщины лучше мужчин справляются с поддержанием близких социальных отношений, и поэтому от них не ожидается, что они могут стать бездомными. Один из руководителей реабилитационного центра для бывших заключенных ответил на мой вопрос о подобных заведениях для женщин так: «В этом нет необходимости, женщины более социально компетентны, после тюрьмы их ждут семьи и друзья». В кратком обзоре бездомности в России Зыков [Зыков, 1999] пишет в том же духе: «Мужчины ночуют в подвалах и на чердаках, а женщины — редко. Чаще они останавливаются у друзей, родственников или снимают жилье» [Зыков, 1999, с. 162]. Мне кажется, что Зыков (не приводящий никаких доказательств своего утверждения), как и многие другие, просто не может представить себе женщину, спящую на улице, что приводит его к ошибочному выводу о том, что в отличие от мужчин у женщин есть выбор (и, кроме того, деньги). Как покажет эта книга, женщины тоже бывают в ситуации бездомности и ночуют на чердаках, даже если они, скорее всего, согласны с Зыковым и другими о несовместимости бездомности и женственности. Однако у этого очевидного парадокса есть решения, и Глава 7 прольет больше света на отношение «женственности» и «бомжевания» соответственно.

Измерения «ненужности» и структура глав

Долгое время рабочим названием этой книги было «Экскременты государства». Я не согласна ни с Ириной, ни с «теорией утечки мозгов», что виной всему индивидуальная глупость (пусть и спровоцированная государством), но тем не менее это история о производстве «человеческих отходов», как Бауман [2004] назвал лишних людей, оставшихся после глобальных экономических преобразований. Мое собственное исследование ограничивается «отходами производства» одной отдельно взятой нации, хотя государство — далеко не единственная исключающая сила. Быть «ненужным» относится и к ряду других механизмов и, как считают бездомные, решающий фактор находится на уровне персональных отношений, а не на уровне прописки. Как отмечают Шепер-Хьюз и Буржуа [2004], не существует четкой границы между открытыми проявлениями государственного насилия (военные действия, политические преследования или, как в данном случае, системное исключение людей из официальных структур общества) и кажущимися межличностными или бытовыми формами жестокости. Абьюз на государственном уровне — это лишь одна из граней «структурного насилия», насилия, которое заложено в каждой социальной структуре, которое нормализует эксплуатацию и несправедливость и существует на всех уровнях одновременно [см. также Farmer, 2004]. Скорее, можно говорить о «континууме насилия», которое охватывает также «маленькие» акты насилия, которые производятся в структурах, габитусах и ментальностях повседневной жизни [Scheper-Hughes and Bourgois, 2004, p. 19], которые дают о себе знать в «легкости, с которой люди способны превратить социально уязвимых в расходный материал» [Scheper-Hughes and Bourgois, 2004, p. 19]. У меня есть ряд возражений против «структурного насилия» и связанных с ним терминов, в особенности против «социального страдания»[13]. Тем не менее, этот концепт имеет очевидные преимущества в этом контексте.

В конце концов, эти процессы, к которым оно относится — это те, которые делают людей «ненужными». «Структурное насилие»

[13] «Структурное насилие» и «социальное страдание» являются слишком общими терминами для анализа, поскольку они подчеркивают те аспекты человеческих состояний, которым мы все подвержены. Нацеленные объединить все негативные аспекты любого типа социальной организации, они в результате значат ничтожно мало. Как отмечает Вакан [Wacquant, 2004], объединение всех возможных форм насилия, неравенства, бедности и т.д. служит не более чем риторическим приемом. Как мне кажется, их упоминание лишь демонстрирует (действительно добродетельную) способность антрополога распознать, что другие люди страдают и что это нехорошо. Кроме того, существует достаточно антропологических исследований несправедливости и боли, которые прекрасно освещают деструктивные стороны социальной организации, используя другие

подчеркивает регенерацию неравенства и злоупотреблений, способность бесчеловечности распространяться на все возможные сферы социальной жизни, что является основной темой этой книги. Однако это также история о том, как люди используют противоречивые, ненасильственные, культурные ресурсы в своей борьбе за поддержание чувства принадлежности к людям, несмотря на насилие, пронизывающее их социальный мир. По выражению человека, упомянутого в начале этой главы, речь идет о том, как избежать «превращения в кусок дерьма», несмотря на то, что с тобой «обращаются как с дерьмом».

Каждая глава раскрывает определенное измерение структурного насилия или социальную сферу, в которой принадлежность или «ненужность» остро воспринимается для моих информантов. Согласно Харрису [Harris, 1989], социальная личность конструируется в ряде частично взаимосвязанных социальных сред и, таким образом, может быть дарована индивиду в одной среде, а в другой — нет [Harris, 1989, p. 604]. БОМЖи, как пример, отвергаются государством но не обязательно отвергаются семьей и друзьями. «Бомжи-бичи» не допускаются в ряд фундаментально важных социальных пространств, где традиционно создаются и поддерживаются социальные личности — это и есть многоуровневое социальное исключение, которое условно обозначается западным понятием «бездомность». Очевидно, что это термин может быть использован в переносном смысле [Wardhaugh, 2000], но в рамках социальных наук «бездомность», как правило, подразумевает отсутствие жилья в общепринятом смысле, хотя и не может сводиться только к этому критерию.

Как правило, учитываются три уровня: макроуровень общества, личные социальные связи и моральное измерение, связанное с социальной стигматизацией[14]. Во-первых, даже если российские БОМЖи оторваны от того, что может быть названо официальной социальной структурой, повсюду бездомные люди редко равны другим гражданам в терминах доступа к социальным благам или гражданским пра-

концептуальные рамки, без использования этих относительно новых понятий для того, чтобы включить себя в какой-то «жанр». «Антропология страдания» пропагандируется как альтернатива прежним теоретическим традициям, утверждающим стабильность и непрерывность социальной организации [см. Kleiman, Das, Lock, 1997], но, на мой взгляд, такие рамки уже не являются доминирующими в современной антропологии.

[14] Сноу и Андерсон [Snow and Anderson, 1993] предполагают, что бездомность имеет жилищное измерение, а также измерения, связанные с поддержкой семьи и с моральными оценками [Snow and Anderson, 1993, p. 7–10]. Это имеет смысл с перспективы того бездомного человека, повседневная жизнь которого определяется отсутствием собственного жилья или сетей персональной поддержки, а также опытом унижений. Аналитически, однако, я бы скорее рассматривала жилищный вопрос как узловую точку, поскольку он всегда определяется положением человека в том или ином социальном порядке.

вам или к работе и жилью. Во-вторых, большинство исследователей признают, что бездомные люди не имеют того типа персональных сетей, которые «считаются» мэйнстримным обществом — прежде всего, конвенциональные семейные отношения. Наконец, бездомность подразумевает исключение из того, что называют «моральным сообществом». Будь это на официальном уровне общества или неформально, бездомные люди стигматизируются как якобы ненадежные не-люди, и этот факт определенно влияет на их возможности найти место для ночлега.

Порядок глав не соответствует «иерархии важности» в глазах бездомных, но знакомит читателя с миром бездомности и его обитателями спускаясь с макро перспективы на межличностный уровень. Эта стигма, или негативные характеристики приписываемые бомжам и тем способам, с которыми бездомными имеют дело, это тема, которая проходит через все главы, но становится более центральной по мере продвижения книги.

Как отмечает Кеннет [Kennet, 1999], бездомность не может сводиться только к бедности, но она должна также пониматься в терминах гражданских прав. Ее наблюдение определенно релевантно кейсу государственной бюрократии, централизованной настолько, как в случае советско-российской, и глава 2 объясняет государственный аппарат административного исключения — прописку — и ее взаимосвязи, которые объединяют жилье, доступ к работе и правовые санкции на движение. Проникая в самые обыденные аспекты повседневной жизни граждан, система в то же время исключает значительные категории из административно регулируемых структур общества. Этот способ, в котором высоко централизованные политические системы контролируют своих подданных, часто описывается в терминах «видения» или «наблюдения». В терминах Скотта [Scott, 1998], прописка — это форма классификации, которая делает граждан «видимыми» для государства, а Хандельман [Handelman, 1981] наряду с Фуко [Foucault, 1977] подчеркивает «паноптические» функции современной бюрократический классификации. Паноптикум был планом Иеремии Бентама создать круглую тюрьму, которая позволяла бы наблюдать за всеми заключенными из центра, в то время как сами заключенные не могли видеть ни друг друга, ни своих охранников.

Однако прописка не только ограничивает перемещение и заставляет субъекта осознавать, что за ним наблюдают (главный аргумент, по мнению Фуко). Прописка также распределяет гражданские права и социальное обеспечение, тем самым добиваясь соответствия и заставляя «невидимых» голодать. Государственное наблюдение такого рода склонно рассматриваться как исключительно современный феномен, раз одним из многих выражений современности является органичная и интегрированная социальная администрация [ibid]. С другой стороны, такие системы основаны на классифицировании

людей на «инсайдеров» и «аутсайдеров», которая далеко не ограничивается временами и территориями, условно считающимися «современными». Как утверждает Херцфельд [Herzfeld, 1992], этот способ мышления не является новым, а предположительно «современные» бюрократические системы — это скорее факт возрастающей централизации и масштаба [Herzfeld, 1992, p. 8]. По словам Баумана [Bauman, 2004], попытки людей «сконструировать» свой социальный мир всегда порождают беспорядок наряду с предполагаемым порядком, но «современность — это состояние компульсивного, вызывающего привыкание конструирования» [Bauman, 2004, p. 30].

Притча о паноптикуме не оставляет места для сопротивления или, как минимум, для попыток сбежать от слежки. Глава 2 также проясняет, каким образом россияне всегда обманывали эту систему в своих личных интересах и как эти манипуляции могут приводить к бездомности — как для тех, кто обманывает, так и для других. В двух последующих главах тема уклонения и манипуляций распространяется на повседневную жизнь бездомных. Глава 3 рассказывает о том, как они зарабатывают себе на жизнь, в то время как Глава 4 фокусируется на том, как используется городское пространство, например на места времяпровождения днем и места ночлега. Теоретическая рамка, которая сохраняет «видение» как центральную ось, но принимает во внимание ответные действия бесправных — это предложенное Де Серто [De Certeau, 1984] различение между стратегией сильных и тактикой слабых: стратегия — это поытки власти производить обзор и контролировать пространство, тактики — это манипуляции, к которым прибегают «слабые». «Тактики» не имеют общей перспективы, которая есть у «стратегий», так что вместо этого они должны полагаться на время и креативное «использование момента». Я принимаю эти две позиции как относительные, но не как позиции, представляющие конкретных акторов. Как будет показано в главе 3, предприниматели, использующие труд бездомных, тактически обходят налоговые органы, одновременно сохраняя контроль над работниками, которые, в свою очередь, могут прибегать к тактическим уловкам, направленным против предпринимателей.

Тактики бездомных, впрочем, это не только смелые прыжки на охраняемые территории. Они также направлены на присвоение и использование пространств, которые уже с самого начала ускользают от наблюдательного взгляда властей. Райт [Wright, 1997] ввел термин «отказные пространства» для обозначения кажущихся забытыми уголков городского пейзажа, которые еще не присвоены и не использованы государственными органами или рыночными силами. Я распространяю это понимание на мир труда, поскольку наиболее точным описанием способов пропитания бездомных было бы «работы, подработки или материальные объекты, нежеланные для других». Таких пространств предостаточно, ведь российские города

еще не обставлены повсеместно цифровыми кодами на дверях, видеомониторингом и перепланировками, а рынок труда не отличается высокой уровнем регулирования. Он, напротив, настолько пронизан так называемыми неформальными (и уводящими от налогов) практиками на всех уровнях, что такие термины, как «вторая» или «теневая» экономика, имеют мало смысла. Эти ниши заняты бездомными, потому что остальным они не нужны, а не потому что государство их не видит, поэтому я предпочитаю мыслить в терминах «пространства отказа» или «экономика отказа».

Российское государство, говоря простыми словами, весьма недальновидно. Ни его главный «бинокль» — система прописки, ни другие «стратегии наблюдения» не отличаются особой эффективностью, и это тесно связано с хроническим отсутствием лояльности к государству со стороны его граждан, а также с сохраняющимся разделением между публичным и приватным, которое характеризует не только советское общество, но весь Восточный блок в целом. По мнению Борнемана [Borneman, 1991], капиталистический Запад поддерживает иллюзию, что свобода и самореализация происходят на публике, а в частное пространство вторгаются средства рекламы и коммерции. На Востоке ситуация обратная. Публичное пространство было пронизано инструментальной рациональностью государства, в то время как частное пространство стало свободной зоной для независимой рефлексии и мечтаний [Borneman, 1991, p. 17, 79–81]. Как описывает Шляпентох [Shlapentokh, 1989], большинство советских граждан фактически вели две параллельных жизни с очень небольшим количеством взаимных совпадений в мыслях, ценностях и поведении.

Тесные социальные связи стали главным убежищем от вызывающих недоверие государственных структур, и это разделение сохраняется. То, что невозможно получить по официальным каналам, всегда можно получить через связи, сюда включаются работа и жилье для большинства из трех миллионов россиян, кто являются юридически БОМЖами, но им никогда не приходилось искать пристанище на пустующих чердаках. Среди тех, кто не является БОМЖом, значительная часть могла бы скорее всего определить себя как отчужденных от «макросоциального уровня», что, как уже отмечалось, является одной из причин, почему они всерьез не принимают во внимание исключение бездомных. Доверие инвестируется в приватную социальную сфере скорее, нежели в широкомасштабные социальные структуры или акторов, репрезентирующих их [см. Lindquist, 2005, p. 230–234). В такой концептуальной вселенной существует огромная пропасть между внутренним и внешним, а также — что особенно важно для этого исследования — между «нами» и «ими», или, выражаясь по-русски, между *своими* и *чужими*. «Свои» были условием для относительно комфортной жизни в советский период, и теперь они — единственный надежный источник социальной поддержки. Судьба бездомного

в реальности определяется отсутствием такого «социального капитала», который определяется Бурдье [Bourdieu, 1990] как «эффективное обладание сетью отношений родства (или других), способных быть мобилизованными или, как минимум, манифестированными» [Bourdieu, 1990, p. 35][15]. Нужно подчеркнуть, что для того, чтобы «свои» составляли социальный капитал, они должны быть способны помогать. Если так, они могут частично поддержать при отсутствии прописки, но бездомные являются бездомными исключительно потому что у них нет никакого «мы», в которое они могут быть включены.

Глава 5 и Глава 6 дают возможность ближе посмотреть на такие сети. Это то, что стоит на кону больше, чем что бы то ни было для самих бездомных, особенно в случае разрушенных или несуществующих отношений с семьями и друзьями, существовавшими до бездомности — этому посвящена Глава 5. Я называю их близкими — термином, который относится в первую очередь к семье, но также может включать настоящих и верных друзей. «Близкие» составляют ядро, от которого исходит более широкая сеть «своих». Это те люди, в которых человек нуждается больше всего, которые, согласно современной практической российской логике являются основным источником социальной поддержки, и они также те, кому ты должен быть нужен. У многих бездомных «близких» нет с самого начала или они потеряли их в течение своей жизни. Другие страдают от реальности, с которой приходится сталкиваться многим другим россиянам после советской эпохи, а именно: укоренившиеся ожидания и нормы взаимопомощи вступают в конфликт с бедностью и новыми социальными различиями. Глава 5 посвящена социальному миру самих бездомных. Они достаточно единодушны в том, что другие бездомные люди не могут составлять «нас»/«своих» в широком смысле слова, и они также страдают от ненадежности и поверхностности, которыми обычно характеризуют эти отношения. Однако в то же время между бездомными людьми есть значительная степень взаимоподдержки, а также прочные и поддерживающие личные связи, и в этой главе показано почему, несмотря на это, они не могут создавать «своих» друг с другом.

Обе главы подчеркивают реципрокность и то, как поток товаров и услуг одновременно составляет и выражает социальные отношения. Из множества антропологических работ о реципрокности наиболее подходящей в данном контексте, на мой взгляд, является работа Салинза [Sahlins, 1984], в которой проводятся границы между «общей реципрокностью» между людьми, считающимися «нами», калькулированной — «сбалансированной реципрокностью» с ува-

[15] В отличие от таких политологов, как Роберт Патнэм, которые рассматривают социальный капитал как актив не отдельных людей, а государства или страны, состоящей из сильного гражданского общества и вовлеченных и ответственных граждан.

жаемыми Другими и негативной реципрокностью — воровством — от презираемых и приниженных Других, тех, кого (моими словами) нельзя считать за людей. Неспособность бездомных делать вклад в нормативную основную реципрокность среди близких исключает их из социальных сетей. Неуверенность и двусмысленность отношений между самими бездомными проявляется в любопытном сочетании общей и негативной реципрокности, в то время как сбалансированный обмен практически отсутствует.

Все главы в некотором смысле разрабатывают понятие грязи — способ, которым государство производит человеческие «отбросы» и обращается с ними как таковыми; места для отбросов в мире труда и в городском пейзаже; и — что более символично — процесс превращения и переживание себя «ненужным» остатком по отношению к персональным социальным связям, в которых традиционно выковывается человек. В главе 7 речь идет о грязи в буквальном смысле в контексте внешности — ключевом вопросе, когда речь идет о дистанцировании от «типичного» бомжа. В главе речь идет не совсем о теле, поскольку речь идет именно о внешнем виде, который оказывается на кону, а не о частых болезнях, простуде, недосыпе или мучительном похмелье. Это обсуждение затрагивает вопросы самовосприятия, стереотипов и стигмы и, как таковое, включает мои идеи о «поле бездомного» и, вдобавок, мысли бездомных о траекториях или, говоря их словами, «привыкании ко всему этому».

Исследования о бездомности: российские пионеры и западная этнография

Поскольку бездомность условно определяется как общее социальное исключение, то трюизм заключается в том, что в исследованиях на эту тему постоянно предпринимаются попытки понять, что *именно* делает людей аутсайдерами. Эпистемологические подходы к этой теме многообразны, а платформа, на которой они конкурируют за признание, чрезвычайно политически заряжена. В конце концов, бездомность — это уродующее пятно на лице любого государства, даже того, которое не претендует на процветание или социальное благополучие. Прыщи, разумеется, можно просто игнорировать. Именно так советское государство относилось к своим «физиогномическим» отклонениям; те немногочисленные исследования о бомжах или бродягах проводились Министерством внутренних дел, то есть органом милиции [Лиходей, 2003]. В значительной мере нынешние российские власти применяют тот же самый метод, и в хаотичные годы с начала Перестройки бездомность привлекала относительно

мало внимания социологов по сравнению с множеством других растущих социальных проблем. По сей день существует относительно небольшое число российских исследований, в основном представляющих собой общие очертания социальной проблемы как таковой, с некоторой информацией о стратегиях доходов, заболеваемости и т. д. [См.: Гилинский и Соколов, 1993; Юликова и др., 1994; Зыков, 1999; Beigulenko, 1999; Завьялов, 2000; Гутов и др., 2004; Осинский и др., 2004]. В дополнение к тому НКО или их активисты сами или в сотрудничество с академическими исследователями публикуют похожие обзоры[16]. Есть одна этнографическая работа о продавцах уличной газеты [Соловьева, 2001], [...].

В большинстве западных стран дискурс о бездомности, напротив, является полем безудержной конкуренции[17]. В начале 1900-х годов бездомность была передана из системы уголовного права в руки расширяющихся систем социального обеспечения [см. Humphreys 1999], и таким образом она стала субъектом социальной инженерии и науки. По мнению Фуко [Foucault, 1993], наука на протяжении всего своего существования была инструментом власти и ее сообщницей в конструировании социальных проблем, а также в разработке политики, направленной на лечение этих социальных проблем. Конструкты «босяков» и «бродяг» в XIX веке были похожи на то, как изображаются «бомжи» в современной России, но на протяжении XX века акцент сместился на «социальную оторванность» и, наконец, на медицинские патологии.

Наглядное изменение произошло в связи с так называемым неолиберальным поворотом в конце 1990-х годов, что подразумевало общую переориентацию с парадигмы политического благосостояния на новый этос, который характеризовался предпринимательством и индивидуализмом [см.: Kennet, 1999; Snow and Anderson, 1993, p. 237–253; Wright, 1997, p. 81–85; Turner, 2000). Сокращения государственных расходов и рост стоимости жилья привели к заметному изменению численности бездомных, среди которых теперь были и молодые люди, и женщины, а в США — семьи и небелые люди. В эти годы число исследований, посвященных бездомности, возросло пропорционально масштабам восприятия этой социальной проблемы.

[16] Тексты, подготовленные на базе НКО, это напр.: [Bodungen, 1994; Соколов, 1994; Карлинский, 2004] с фокусом на правовых аспектах. [Гилинский и Соколов, 1993] — пример сотрудничества между НКО и академией.

[17] Точнее, регионы, говорящие на англосаксонских и скандинавских языках, доступных мне. Обычно бездомность рассматривается как национальная проблема и обсуждается как таковая на местном языке. Однако я полагаю, что исследования в Германии, Франции и т. д. фундаментально не отличаются от тех, которые делались в других европейских странах.

Разнородная плеяда экспертов рассматривала проблему с различных дисциплинарных и политических перспектив, сосредоточившись на истоках и способах избавления от социального исключения. Наиболее популярные современные исследования связаны со злоупотреблением психоактивными веществами и/или с ментальными заболеваниями [см.: Wright, 1997], а в странах с сильными консервативными традициями (в частности, в США) существует влиятельное политическое течение, которое продолжает интерпретировать бездомность в терминах индивидуальных моральных недостатков.

Этнография[18] (в целом социальные исследования, которые проводятся качественными методами) принадлежат к тем дисциплинарным и методологическим ориентациям, которые противостоят этим тенденциям, и большинство современных работ такого типа в том или ином смысле являются вкладом в продолжающуюся дискуссию об индивидуализации и медикализации социальных проблем в общем и бездомности в частности. Основные аргументы заключаются в том, что правительства и другие политические акторы предпочитают индивидуализированные интерпретации, чтобы затушевать социальные неравенства и ошибки в системе социальной поддержки [см. упомянутые выше исследования, а также: Mathieu, 1993, Thörn, 2004, Järvinen, 1992). Кроме того, даже если употребление наркотических веществ или ментальные заболевания часто встречаются среди тех, кто ночует на улице, эти проблемы позиционируются и расширяются таким образом, чтобы скрыть их связь с отсутствием жилья или другими аспектами социального исключения, а также замаскировать другие социальные категории, которые де-факто являются «бездомными» [см. Thörn, 2004].

Медикализация отчасти является побочным эффектом фрагментации и академической сегментации. «Бездомные» изучаются как индивиды исследователями, ориентированными на медицину, в то время как многие оппоненты интерпретируют «бездомность» исключительно как макроструктурный феномен (например, в исследованиях жилья). Как отмечают Кёгель [Koegel, 1992] и Райт [Wright, 1997], эти два уровня редко объединяются, и, как отмечает Салин [Sahlin, 1992], это усугубляет тенденцию к круговым аргументам и трюизмам. Предвзятые идеи о «центральной проблеме», заданные дисциплинарной повесткой, обычно подтверждаются методами, которые исключают данные, не подтверждающие первоначальные предположения. Исследования бездомности обычно основаны на анкетных опросах, и ученые, естественно, распространяют свои анкеты или проводят

[18] Поскольку большая часть этнографических исследований о бездомности написаны социологами и культурными географами, нежели антропологами, в этом контексте я предпочитаю термин «этнография».

разовые интервью в местах, где они ожидают найти подходящих респондентов. Как правило, это поставщики социальных услуг, например, шелтеры, клиники и другие места, которые привлекают (или ориентированные на) уязвимые категории — такие, как наркопотребители или люди с ментальными заболеваниями. Эти результаты воспринимаются как репрезентативные для «бездомных» как всей категории, хотя такие места часто отталкивают или исключают людей, которые могли бы считаться «бездомными» в соответствии с пересмотренным определением [Sahlin, 1992; Koegel, 1992; Wright, 1997].

Лонгитюдное качественное исследование не застраховано от этой присущей ему тенденции к трюизмам. Наука всегда конструирует свои объекты; мы не можем изучать что-то, не определив предварительно, что это такое или не подходя к чему-то в соответствии с предварительными ожиданиями/гипотезами. На практическом и методологическом уровне этнографы зависят от определенных мест полевого исследования и, как и другие исследователи, мы отправляемся туда, где мы ожидаем найти то, что мы хотим, тем самым рискуя попасть в ту же эпистемологическую ловушку. Тем не менее, длительное время полевой работы помогает скорректировать узкие и предвзятые выборки. Это позволяет нам расширить наши сети до «нетипичных» людей и обнаружить факторы, на которые мы изначально никогда бы не обратили внимания, а также выявить разрывы и противоречия в тех закономерностях, которые, как нам кажется, мы способны обнаружить. Холистический подход (хорошей) этнографии может также контекстуализировать индивидуальные ошибки в социальном и политическом контекстах на макроуровне, что дает возможность преодолеть кажущийся хроническим раскол между структурным анализом и фокусом на индивидуальные характеристики в этом конкретном направлении исследований. Различные наборы индивидуальных дилемм могут быть связаны друг с другом, что предотвращает односторонние объяснения и показывает, как различные факторы — включая выбор и реакцию самих субъектов — совпадают в жизненном пути уникальных акторов. Таким образом бездомность может пониматься как интегрирующая ситуация, а не как исключительно изолированный симптом.

В целом, современные исследования пытаются дать обзор повседневной жизни бездомных из первых рук, в то же время показывая, как «макро» возникает и отражается на индивидуальном уровне. Сноу и Андерсон [Snow and Anderson, 1993] изучают общие макроэкономические колебания со стратегиями обеспечения пропитания, социальными отношениями и «управлением идентичностью», а Райт [Wright, 1997] концентрируется на связи между социальной стигматизацией и использованием и перепланировкой городского пространства — темами, которые поднимали также Амстер [Amster, 2003], Ловелл [Lovell, 1992], а также Сноу и Малка-

хи [Snow and Mulcahy, 2001]. Привнося темы сопротивления и гражданского активизма среди бездомных и активистов, Райт [Wright, 1997] в дополнение оспаривает так называемую теорию разобщения, продвигаемую литературой с 1950-х по 1970-е годы. Основной проблемой бездомности в этих исследованиях видится изоляция от сложившегося общества, усугубляемая очевидно деструктивными нормами и поведением бездомных [см.: Bahr, 1973; Wallace, 1958]. Этот тезис опровергается многочисленными исследованиями, которые, с одной стороны, подчеркивают важность социальных сетей среди бездомных [Wagner, 1993; Dordick, 1997], а с другой стороны — критикуют доминирующие нормы и ценности, определяющие социальные структуры, из которых бездомные исключены. В частности, «семейные ценности» и семья как социальный институт [Passaro, 1996; Wagner, 1993] и/или сложившийся гендерный порядок подвергаются критике в исследованиях, посвященных бездомным женщинам [Wardhaugh, 2000; Rosengren, 2003; Thörn, 2004].

Все этнографические исследования пытаются дать представление о том, каково это — быть бездомным, хотя, насколько мне известно, только Дежарле [Desjarlais, 1997] придерживается прямой феноменологической перспективы в своем исследовании бездомных с ментальными заболеваниями. Впрочем, желание выразить словами опыт «нищих» никогда не было присуще исключительно академии, и на протяжении более чем века различные расследователи «под прикрытием», обычно журналисты, примыкают к «бродягам» и самым бедным, чтобы показать, «как все обстоит на самом деле» [London, 1903; Orwell, 1933; Wallraff, 1976; Toth, 1993]. Некоторые из этих исследований впечатляют (я особенно впечатлена Джеком Лондоном), другие кажутся менее надежными из-за чрезмерного сочувствия к «свободе» или «солидарности» или, наоборот, к сенсационности или чрезмерно эмоциональному погружению в жалость. Конечно, академические исследования тоже не застрахованы от всего вышеперечисленного, но мы чаще подвергается критике за это[19]. Более или менее явная цель всех вышеупомянутых исследований (и моего собственного) — дать замалчиваемому субалтерну голос — создает подводные камни романтизации и оправдывающих ловушек, интенсивно обсуждаемых в антропологии начиная с «постмодернистского» поворота и далее. И все же автор должен создать какой-то тип репрезентации и это уже читателю предстоит судить, как я справляюсь с этим в этой книге.

[19] Критику публичных клише — перевернутых или нет — см. в конкретных этнографических работах о «улице» [Wacquant, 2002 и Madden, 2003, и в качестве ответа на эту критику — Madden, Bridgeman et al., 2005].

Пост-социалистическая, или новая, Россия

Эта книга о радикально меняющемся обществе, о развале, как большинство россиян называют коллапс советской системы, и о преемственности и разрывах между «раньше» (как обычно называют советское время) и «сейчас». Социальные изменения — это главная тема для растущего числа этнографических работ о бывшем Советском Союзе, которые стали появляться с начала Перестройки, когда западные этнографы наконец получили доступ к нему. В советское время было проведено лишь несколько исследований — прежде всего работа о бурятском колхозе Керолайн Хамфри [Humphrey, 1983], а также небольшие исследования — такие как книга Истона [Easton, 1989] о ленинградском рок-сообществе, или опубликованные задним числом подпольные исследования — такие как книга Нильсен [Нильсен, 2004].

Мне кажется, что в литературе о постсоветском сложнее определить общие теоретические и/или политические программы, чем в исследованиях о бездомности; кроме того, в них затрагиваются очень широкие вопросы резких социальных трансформаций и, как результат, неопределенности и непредсказуемости. Тем не менее, общей целью, хотя и не всегда обозначенной, являются архитекторы «шоковой терапии» и рыночного либерализма, которые предполагали когда-то прямой и предсказуемый «переход» от советского социализма к западному рыночному капитализму, облаченный в «дискурс капиталистического «триумфализма»» [Berdahl, 2000, p. 1]. Этот путь, однако, прошел по другой дороге, через неровный ландшафт социальных и культурных факторов, игнорируемый политической наукой, а неожиданные повороты и изгибы вместо этого тщательно исследуются этнографами.

Для людей, переживших и переживающих эту трансформацию (о том, как ее лучше называть см. Burawoy et al., 1999), было несомненным только то, что ничто не было определенным. Этнографические исследования постсоциализма[20] склонны иметь дело с теми способами, с помощью которых люди ориентируются в капризно меняющемся социальном ландшафте, который в значительной степени

[20] По-прежнему сравнительно мало издается монографий, возможно потому что многие исследовательские проекты представляют собой докторские диссертации, что во многих странах предполагает значительный промежуток времени между завершением диссертации и публикацией книги. Больше статей и сборников, в которых ученые из России часто участвуют вместе с западными исследователями. Граница между западной этнографией и российскими социальными науками становятся все более проницаемой, и российская социальная наука также вносит свой вклад в качественные исследования на местных языках или на английском.

находится вне зоны их контроля. В значительной мере это истории о лишении собственности, распадающихся структурах социальной защиты и разрушающихся институтах. Как этнографические исследования того, как «обычные люди» осмысливают меняющийся мир, они также являются историями меняющихся идентичностей. Вопросы о меняющихся концепциях относительно личности и себя особенно актуальны для России, поскольку ее население всего пятнадцать лет назад подвергалось государственной идеологии, направленной на формирование политически желательной личности [см. Kharkhordin, 2000]. Даже если усилия этой идеологии обходились, оспаривались или — как правило — принимались лишь частично, ее присутствие все равно ощущалось, и для людей было важно, кем они являются, не в последнюю очередь потому что это могло иметь ощутимые последствия в виде как привилегий, так и наказаний.

Несмотря на общие темы, эти этнографии касаются самых разнообразных тем в радикально разнообразных социальных условиях: исследования «малых народов Севера» (коренного населения Сибири и российского Севера) [Grant, 1995]; или других этнических меньшинств в России [Lemon, 2000] или в других бывших советских республиках [Nazpary, 2002]. Мою работу следует рассматривать в первую очередь как вклад в растущий массив литературы о городской России, хотя резких разграничительных линий между «жанрами» очевидно не существует. Работы Рис [Ries, 1997] и Песмен [Pesmen, 2000] возможно наиболее четко рассматривают то, как люди воспринимают себя и общество в свете социальных изменений, и, как уже отмечалось, эти работы также определенно важны для этого исследования, поскольку их тщательное исследование понимания, связанного с «душой», имеет значение для обсуждаемых здесь артикуляций того, что такое «быть человеком».

Другие исследования задают похожие вопросы, фокусируясь на примере различий жизненных стилей и отношений отдельных социальных категорий: о молодежи [Pilkington 1994; Pilkington 1996; Markowitz, 2000], [...], о женских движениях [Sperling (1999]; или о возникновении новых (или ранее скрытых) практик, например, о потреблении [Barker, 1999] и целительстве [Lindquist, 2005]. Гендерные вопросы и меняющиеся условия для женщин рассматриваются в ряде работ, в основном в сборниках [напр. Ashwin, 2000; Buckley, 1997; Pilkington, 1996]. В ряде различных контекстов Хамфри исследовала связи между повседневными экономическими активностями и концепциями личности и «я» [Humphrey, 2000a; Humphrey, 2000b] — тема, которая наблюдается также в двух других работах [Ledeneva, 1998; Arnstberg et al., 2003]. Депривация и бедность рассматриваются в исследованиях социальных отношений вокруг благотворительной столовой в Москве [Caldwell, 2004] и в исследовании российских беженцев из бывших советских республик [Pilkington, 1998].

Термины «постсоциалистический» или «постсоветский» не являются самоочевидными. [Humphrey, 2002a] считает, что они исчезнут, поскольку россияне — в особенности молодые — перестанут себя идентифицировать или соотносить себя с советским прошлым, что откроет путь для новых эмных аналитических рамок. Антропологи тоже становятся моложе, утверждает она, и могут сосредоточиться на новых проблемах, которые выигрывают от других ключевых тем — глобализация, Европейский Союз, новые коммуникационные технологии и т. д. [Humphrey, 2002, p. 14]. По моему опыту, нероссийские исследователи из бывших советских республик часто считают такие понятия, как «постсоциалистический» или «советское наследие» устаревшими, поскольку они объединяют все стремительнее различающиеся обществе под ярлыками, которые делают их все похожими на разновидности России, в которой и проводится большинство «постсоциалистических» исследований [Humphrey, 2002, p. 14]. Не только люди, о которых мы пишем, часто имеют социалистическое прошлое в качестве основной точки отсчета, но и ученые нуждаются в этом термине в поле для сравнения исторически обоснованных исследований.

По этим же причинам я сохраняю эту концепцию. Административная и правовая база, которая лишила героев этой книги их домов, была и преимущественно остается советской. Как личности, большинство из них тоже вполне «советские», включая Ирину, которая обвиняет всех остальных в том, что они «экскременты» советского государства. Они выросли и прожили свою «домашнюю» жизнь в советскую эпоху, и большинство из них стали бездомными тоже в тот период, хотя некоторым удалось пережить несколько лет Трансформации, прежде чем этот период превратил их в «бомжей». Их концептуализации и ценности социального существования были привычны во времена Застоя, и воображаемый «дом», с которым они постоянно сопоставляют бездомность — отчетливо советский. В результате, сравнивая культурные концепции и социальные паттерны «раньше» с теми, которые «теперь», я вероятно преувеличиваю преемственность в ущерб разрыву, но это действительно книга о советском наследии или о советских «остатках».

О поле

Другие антропологи интересуются моим полем, полагая, что это было тяжело, депрессивно и даже опасно. Это зависит от того, как определять «тяжело». Самые расстраивающие истории, которые я слышу от коллег, описывают будущих информантов как подозрительных, молчаливых и полных презрения — с такой проблемой я никогда не сталкивалась. Исследование «низов» в этом смысле имеет

определенное преимущество, по крайней мере, общим знаменателем изучаемых людей является то, что они чувствуют себя одинокими, презираемыми и отвергнутыми. Буквально все, кого я встречала, ценили тот факт, что кто-то реально заинтересован в их жизнях и готов выслушать их, даже когда они далеко не всегда хотели говорить о том, что было интересно мне. Они никогда не давали почувствовать мне себя незваной гостьей, но у меня был целый ряд других дилемм, которыми легко можно заполнить один, а то и пару томов по методологии социальных исследований. Так что здесь я ограничиваю себя коротким резюме того, как проходила моя полевая работа, с небольшим числом комментариев об определенных особенностях участвующего наблюдения среди бездомных людей. Я описываю здесь очень коротко места проведения исследования; все они описаны детально в Главе 3, где читатели познакомятся с местами реальной борьбы за рубль, выпивку и подобающий внешний вид.

Я уже была знакома с Россией, когда планировала этот проект. Я путешествовала по СССР несколько раз в позднеперестроечный период, и результатом этого стал бесконечный поток российских гостей в моем доме в Стокгольме. Я также жила с русскоязычным мужчиной на протяжении пяти лет, и в течение этого периода я довольно хорошо освоила язык. Пребывание в течение четырех месяцев в Петербурге в 1996 году — когда я встретила старика у Вечного огня — улучшило мой русский язык, так что я делала подготовительные поездки в город для этого проекта. Когда я начала мое полевое исследование, я легко коммуницировала с людьми среднего и старшего возраста (большинство моих информантов относились к этим возрастным когортам), в то время как понимание молодежного сленга вызывает у меня проблемы до сих пор, поскольку он беспрерывно меняется. Криминальный жаргон не был проблемой. Те, кто его использовали, предвидели мои затруднения и делали все возможное, чтобы помочь мне с пониманием, также они научили меня мату — крайне сексуализированным ругательствам, которые пронизывают все виды разговорной речи.

Чтобы найти информантов, как большинство других социальных исследователей бездомности, на начальном этапе я использовала организации, работающие с бездомностью. Уже в 1997 году я услышала о «Ночлежке», российской НКО, которая, помимо всего прочего, регистрировала «БОМЖей», чтобы обеспечить своим клиентам гражданские права через переговоры с городскими властями[21]. Я связалась

[21] В 1999 году реестр «Ночлежки» содержал около 20000 имен, включая информацию о причинах бездомности, хронических заболеваниях, тюремном заключении, вырос ли клиент в детском доме, имеет клиент местное или не-местное происхождение. В этой книге для статистических целей я использую не весь архив, а новые записи 1998 и 1999

с ними во время подготовительного визита в Петербург в том же году и мне позволили быть волонтером в течение нескольких недель на кухне, которая в это время действовала (и которая закрылась пока я была там из-за отсутствия финансирования). Люди приходили в этот офис как за помощью по правовым вопросам, так и взять одежду, которую передавали на благотворительность другие горожане. Кроме того, организация содержала «дом на полдороги» — это лучший термин, чтобы описать это здание, где более или менее постоянно проживало 70 или около того человек. В то время это был один-единственный шелтер для бездомных людей на весь город. По тому же самому адресу «Врачи без границ» открыли в 1999 году клинику для бездомных людей, но позже они переехали в одну из городских больниц и я никогда не делала наблюдений в их переполненном приемном отделении.

«Ночлежка» также передавала бездомным на распространение уличную газету «На дне», аналог The Big Issue или «Уличных новостей». («Ночлежка» и «На дне» — это два русскоязычных названия известной пьесы Максима Горького). В 1999 году редакция «На дне» организовала писательский конкурс для людей с опытом бездомности, а позднее участники конкурса были опубликованы в антологии «Расскажи нам о своей жизни», которую я использовала в дополнение к моим собственным полевым материалам[22].

До того, как я начала свое настоящее поле в январе 1999 года, я также была на связи с двумя другими организациями в городе, которые выглядели как многообещающие площадки для исследования. Первая — это корпус «Армии спасения», которая направляла свои сервисы и активности на помощь бездомным, и вторая — «Каритас» (в кооперации с Мальтийском орденом), которые организовали кухню для бездомных, в то время имевшую две площадки недалеко друг от друга. Я намеревалась использовать эти организации в основном чтобы найти информантов, которые далее могли бы привести меня к их собственным тусовкам. Меня больше интересовало, как бездомные выживают своими силами нежели в их взаимодействия с ограниченными цепочками благотворительности; кроме того, я боялась, что их зависимость от НКО повлияет на общение со мной. Последнее беспокойство было излишним, судя по тем частым критическим замечаниям в адрес благотворительных организаций, которую я слышала со стороны их клиентов. В итоге в своем поле я скомбинировала организации и специ-

года, поскольку невозможно узнать, сколько из зарегистрированных людей все еще остаются бездомными.

[22] Эта книга — это абсолютно захватывающий рассказ о «повседневных жилищных дилеммах», начиная со Второй Мировой войны и далее, хотя большинство авторов никогда не сталкивались с буквальной «бездомностью».

альные места тусовок, такие как железнодорожные станции и рынки. Самым важным объектом такого рода был самый большой и самый центральный железнодорожный вокзал города, где в длинном дворе постоянно находились 100–150 более или менее бездомных людей.

Независимо от места, моим главным методом было просто проводить время рядом до тех пор, пока кто-нибудь не заводил со мной разговор, или пока я не находила вежливый и естественный повод начать говорить с кем-то. Офис «Ночлежки» был по-симпатичному хаотичным местом, где люди могли слоняться, даже если у них не было особых поручений. Я просила клиентов организации, которые приходили за советом, рассказать мне больше об их конкретных проблемах (что они обычно очень ценили), или другие заводили разговоры со мной, потому что я выглядела незанятой. Я также несколько раз порывалась посетить шелтер, особенно его женскую часть, но, к моему разочарованию, он бывал неожиданно закрыт на ремонт или на летние работы. Тем не менее, я была на связи со многими из бывших жильцов шелтера, кто бывал регулярными посетителями на кухне Каритас, где я также тусовалась три или четыре раза в неделю. После еды эти посетители продолжали находиться неподалеку, так что я вклинивалась в эти меняющиеся толпы.

Часто я сопровождала людей к ближайшему месту, где трижды в неделю Армия спасения наливала суп на улице. Эта передвижная кухня с супом была более удобным местом общения по сравнению с их офисом, где также проходили другие их мероприятия — чтение Библии, дискуссионные группы, хобби. Иногда из вежливости я присоединялась к таким встречам, чтобы до и после провести как можно больше времени во дворе с посетителями. Наконец, на Московском вокзале я работала примерно четыре раза в неделю, обычно в компании бездомного человека, который приводил меня туда (и к которому я могла вскоре вернуться).

«Ночлежка» была единственным местом, где человек мог провести весь день. Любые активности в Армии спасения занимали лишь несколько часов; Каритас были открыта только три часа в день; резиденты шелтера были «дома» в основном по вечерам; а после пяти часов на вокзале я всегда была истощена, потому что это место было настолько активным. Вдобавок к одному дню в неделю в «Ночлежке», каждый день я также шла на одно или два места из перечисленных. Толпы людей в НКО в определенной степени пересекались, и я часто сталкивалась с одними и теми же людьми более одного раза в день в разных местах. «Завсегдатаи вокзала» (как я дальше буду называть «местных» Московского вокзала) были менее склонны к экскурсиям. Некоторые из них случайно оказывались на других железнодорожных вокзалах или рынках, так что по мере того, как мне приходилось их встречать на моих привычных маршрутах, я постепенно добавляла их к набору моих постоянных полевых мест. Какой-нибудь завсегдатай вокзала мог появиться в благотворительной столовой или

наоборот, но в целом круги посетителей благотворительных организаций и вокзалов отличались друг от друга.

Моя «работа» чаще всего заключалась в том, чтобы просто стоять и разговаривать с теми, кто ко мне подходит — как правило, их всегда было больше одного человека. Большинство разговоров в реальности были примером «неструктурированных групповых интервью», в которых интервью — как и сами группы — не имели четкой структуры. Собеседники и темы разговоров постоянно заменяли друг друга по мере прихода людей, которые включались, меняли тему и уходили так же внезапно, как и появлялись. В этом смысле вокзал был значительно более интенсивным местом, чем остальные. Никакие работники благотворительности не занимались там организацией дисциплины (откровенно несимпатичные сотрудники полиции пытались, но с переменным результатом) и там были возможности для заработка, как и щедрые порции алкоголя. Редко сдерживая обещания вернуться, собеседники быстро уходили, если замечали бутылки, которые можно сдать, или другие варианты наживы, а кроме того, большинство людей вокруг — не только бездомные — пили умело и много. Из-за всего этого общая бессвязность и переменчивость всех сегментов поля на вокзале удваивалась или утраивалась, так что четырех-пяти часов пребывания там было достаточно, чтобы мой мозг окончательно отказался работать.

Нет никакой приватности в этом никогда не заканчивающемся потоке людей и событий, нет возможности дистанцировать себя от настоящего «здесь и сейчас», будь то физически, социально или ментально. Для бездомного человека это связное измерение страдания от «этой жизни», которая сжимает человечность, потому что это приостанавливает уход в глубину чувств, мыслей и отношений. Я получила доказательство этой деструктивной способности, когда я попыталась проводить приватные разговоры. Участвующее наблюдение позволяет получить представление о текущих событиях, но я также хотела провести глубинные интервью, чтобы получить информацию об индивидуальном прошлом и рефлексии о настоящем. В этих многолюдных местах было мало пространств для конфиденциальных бесед, но когда я пыталась пригласить моих собеседников в кафе, они впадали в смущенное молчание, потому что им казалось, что другие люди пялятся на них, если только они не заказывали водку. Выпивка должна была «очеловечивать», но в реальности она просто превращала эти «интервью» в бессвязное бормотание, и поскольку было сложно отказать моим «гостям» в желанной выпивке, я полностью отказалась от идеи с кафе. Даже когда мне удавалось найти какие-то укромные места, приходилось оправдываться перед теми, кого я не хотела отводить в сторону, а после меня обвиняли в том, что у меня есть любимчики. На приватные беседы также не было времени; мои запланированные собеседники всегда оправдывались тем, что слишком заняты или что

они не в том настроении, чтобы вести долгие беседы, предлагая встретиться позже в другом месте. Все эти договоренности оборачивались провалом, но, думаю, не потому что они отказывались от интервью как таковых, а потому что в реальности бездомных людей большинство заранее продуманных планов обычно срываются из-за случайных и непредвиденных обстоятельств. Вдобавок, они хотели долгих приватных разговоров «по-человечески», что предполагает спонтанное желание раскрыться. Но это желание никогда не появлялось, когда было нужно, потому что у бездомного человека даже нет возможности подумать за пределами «здесь и сейчас». Если я поднимала вопросы, которые не затрагивали непосредственный контекст, они неизбежно оказывались занятыми или отмалчивались, независимо от того, происходило это в составе группы или в моменты случайного уединения.

В конце концов, я отказалась от стремлений к сближению и отдалась непрерывному потоку людей, событий и разговоров, которые мне предстояло вести. Каждый раз, когда я встречала человека, я получала непредсказуемые и часто противоречивые фрагменты его или ее настоящей и прошлой жизни, и я оставалась с огромным неполным пазлом, который предстояло собрать задним числом. Есть аспекты жизни бездомных, о которых я не знаю ровным счетом ничего, потому что о них никогда не упоминалось, а огромные куски историй жизни отдельных людей остаются неясными, потому что они всегда оттеснялись на задний план текущими делами. С другой стороны, то, что у меня есть, получено из непосредственно жизненного опыта людей, а не из моментов отстраненного размышления, спровоцированного моими расспросами[23].

Судя по моим полевым записям, я знаю *что-то* значимое примерно о 200 людях. Около 40% из них это женщины, что на 20–25% больше числа женщин, в среднем регистрируемых «Ночлежкой». В определенной степени, женщинам я уделяла особенное внимание (как и в шелтере), но мое наиболее насыщенное место полевой работы, Московский вокзал, также показывал сравнительно высокую пропорцию женщин. Женщины, как и мужчины, были гетерогенны в терминах социального контекста. Как покажет глава 2, почти половина из них имели тюремный опыт, но многие другие еще за пару лет до этого имели вполне стабильные условия жизни. У некоторых были университетские степени, хотя это сравнительная редкость. В целом, они были русскими или русифицированными. Существующие «этнически Другие» были в основном с Кавказа, из Молдовы или Узбекистана. Некоторые временно застряли в России во время путешествий, но большинство из них жили в России или считали Россию домом на тот

[23] Российские исследователи бездомности [напр. Юликова и др., 1997] иногда собирают данные или ведут глубинные интервью в отделениях милиции, где БОМЖи, которым нужно получить персональные документы, содержатся под стражей в течение корот-

момент, когда стали бездомными. В этот период времени в Петербурге частыми были группы беженцев из бывших советских республик, но они никогда не смешивались с бездомными. Это же касается беспризорных подростков. Самому моему младшему информанту было около 20-ти, а самому старшему — 82, хотя большинство были в возрасте от 30 до 60. У уличных подростков были свои тусовки, и они, как считается, не любят надзор со стороны взрослых [см. Fujimura, 2002], особенно со стороны таких лузеров, как бомжи. Наркотики также не были частым явлением. Я знаю четверых активных потребителей, молодых людей, кто в основном держится нарко-специфичных тусовок, где, как я поняла, несколько их знакомых были бездомными. Некоторые другие люди имели опыт употребления героина или опиатов домашнего производства, но они заявляли, что это было слишком дорого для них на тот момент. Ментальные заболевания также не были особенно распространены. Я встретила трех человек, кто страдал от периодических психозов или чье восприятие реальности значительно отличалось от других, и двое из них были регулярными посетителями психиатрических клиник, когда их состояние становилось критическим. Впрочем, кажется, что ментальные заболевания и наркопотребление постепенно становятся все более распространенными. В 2002 году мне говорили, что ночлежки все более неохотно принимают БОМЖей, а сотрудники «Ночлежки» утверждали, что все большее число клиентов употребляют наркотики или распространяют их, чтобы выжить.

Около 100 человек я встречала настолько регулярно, чтобы считать своим долгом запомнить их имена. Это сложно; бездомные пользуются именами (не фамилиями), а количество имен, активно распространенных в каждом поколении, не столь велико. Треть моих женщин-информанток на вокзале в реальности носили имя Лена, а треть мужчин, кого я видела чаще всего, звали Сергеями. Чтобы помочь читателю не потеряться в книге, я дала каждой персоне собственное имя и использую перекрестные ссылки. Тем не менее, число персонажей книги близко к среднему роману из русской литературы XIX века, и если это вызывает у читателей недоумение, я могу сказать, что бездомные тоже бывают сконфужены. Их способ справ-

кого промежутка времени. Также в Петербурге есть дом для бездомных пожилых людей и людей с инвалидностью, который организовали Сестры Матери Терезы. Я узнала об этих местах позже, но, после некоторых рассуждений, не стала включать их в мое обширное, и без того фрагментированное поле. Ни в одном из этих мест не было приватности в виде одиночных камер или комнат, и доступ к обоим типам требовал административных усилий, которым я бы нашла лучшее применение. Более того, мне хотелось углубить контакт с теми людьми, которых я уже повстречала, а не заводить новые знакомства.

ляться с этой ситуацией — меньше обращать внимания *кто* и *когда* и больше — *что* и *почему*. Я часто делала так же, и это работало.

Само собой разумеется, что к некоторым людям я была ближе, чем к другим, даже если я в основном старалась избегать всего, что могло быть истолковано как фаворитизм. «Быть ближе» не всегда подразумевает «знать все о», и те, кто мне был более симпатичен, необязательно чаще появляются в тексте, чем другие. Однако, «главный персонаж» — это также мой ближайший «друг». Его зовут Вова, и он вызвался быть моим «гидом» по Московскому вокзалу уже в первый день моего поля. Я встретила его в офисе «Ночлежки» — в первом месте, куда я пошла. Имея опыт бездомности или заключения на протяжении 20 из 47 лет своей жизни и будучи постоянным участником самой обширной тусовки бомжей» в городе, он был экспертом в том, что называл «такой жизнью», а как бывший педиатр, он был также достаточно образован, чтобы коммуницировать с «социологом»[24]. Я согласилась и он в действительности доказал ценность своих навыков. Его идея об образованности как обязательном условии для разговора со мной поначалу меня раздражала, и мне приходилось давать понять, что мне не нужны были постоянные объяснения всего, что говорят другие. Тем не менее, без него я бы не смогла освоиться на вокзале так быстро и так удобно. Я пользовалась его поддержкой, когда он спасал меня от чрезвычайно пьяных и настойчивых людей, сказав им отстать от меня.

Он не скрывал, что был бы не прочь получить оплату за свои услуги, и мы заключили сделку. Три или четыре дня в неделю он мог сопровождать меня на вокзале, представлять меня и оставлять меня наедине с новыми знакомыми, если я пожелаю, и я могла обеспечивать его питанием и 50 рублями в день, плюс поддержкой в случае экстренной необходимости[25]. Эту плату я рассматривала — и до сих пор

[24] Слово «антрополог» в русском языке обычно понимается как «физический антрополог», так что обычно я говорила «социолог», чтобы избежать путаницы с измерением черепов. Марковиц упоминает, что поступал так же [Markowitz, 2000, p. 24]. Поскольку я не использовала опросников или структурированных интервью, некоторые информанты все же ассоциировали мою работу с социальными науками. Большинство принимали меня за журналиста (корреспондента), нацеленного написать книгу в репортажном стиле.

[25] В 1999 году один доллар США был эквивалентен 27 рублям, но я считаю более показательным передавать денежные суммы через товары, которые релевантны для бездомных. 50 рублей это: 20 упаковок дешевых сигарет или 6 бутылок пива или 7 буханок хорошего ржаного хлеба или 5 бутылок самого популярного крепкого алкоголя. Зарплата хронически малооплачиваемых врачей была около 800 рублей в месяц (плюс 50 рублей «на стороне» за каждую консультацию), и минимальная пенсия была 225 рублей в месяц. По моим оценкам, можно было едва выживать на 1000 рублей в месяц; 3000

рассматриваю — по крайней мере как компенсацию за ценное время, которое он бы все равно проводил, пытаясь свести концы с концами, и изначально я думала, что я так должна была бы платить другим. Однако, большинство людей рассматривали деньги как несочетаемое с искренними отношениями, и мне крайне редко приходилось компенсировать кому бы то ни было их время или информацию. Гораздо чаще меня просили поддержать в знак дружбы или *от души*, в знак доброты и гуманности, и это также пример того, когда я спонтанно предлагала помощь. Традиционно, подарок «от души» это бутылка или ее содержимое, но я старалась на раннем этапе дать понять, что я не даю наличные или алкоголь. Моей задачей было отвязаться от некоторых особенно голодных подростков на вокзале, которые нарушали каждый разговор, который я вела, с просьбой «дать мелочь на выпивку», и предотвратить подобные отвлекающие моменты в других местах. Вместо этого, я предлагала сигареты без ограничений, аналогичный дружеский жест между курящими товарищами. Мои правила насчет алкоголя относительно хорошо работали, хотя они интерпретировались как знак моральной устойчивости и добродетельного воздержания, а не как прагматичный способ сохранить рассудок ясным. Меня за это уважали, так что я оставляла людей с этим убеждением. Я также помогала с лекарствами или едой, фотографиями на паспорт (их удостоверяющие личность документы пропадали все время), билетами на поезд, подручными средствами такими как кипятильники и в некоторых определенных случаях — с наличными деньгами. Менее прагматичная, но гораздо более популярная просьба заключалась в том, чтобы я выступила как фотограф и предоставила людям их портреты «на память». Можно совершенно по-разному интерпретировать это желание, но я воспринимаю это как желание доказать свое продолжающееся существование и маленькую компенсацию за все те памятные материальные объекты, которые эти люди потеряли.

Вова с самого начала дал понять, что страдал от хронического алкоголизма, что изначально накрыло меня стыдом за денежную сделку с ним. Даже если оплата выглядела нормально, этический аспект того, чтобы снабжать человека, живущего с алкоголизмом, возможностью выпить был сомнительным, и у этого была практическая сторона. Я поменяла свое мнение после первого дня на вокзале, во-первых, обнаружив, что я бы никогда не нашла проводника по этому месту, который бы не выпивал, и, во-вторых, что на вокзале вовсе не нужно много денег, чтобы напиться, так что он бы мог успешно делать это и без меня. В-третьих, если я хотела, чтобы он появлялся вовремя и относительно

рублей в месяц было, по мнению моих друзей, не очень хорошо, но достаточно для сравнительно комфортной жизни.

трезвым, я должна была поощрять его усилия. До сегодняшнего дня у меня нет идеи, что могло бы быть «этически подобающим действием» в этой ситуации. Все, что я давала кому-либо, будь то лекарства или хлеб, было потенциальной валютой в общей «циркуляции спиртного» и часто оборачивалось за моей спиной, так что единственно моральным поступком было бы вообще никому ничего не давать (что было бы аморально) или избегать изучать алкоголиков.

Я прагматически решилась заключить сделку с Вовиной привычкой выпивать, что означало ограничение поводов для «неожиданных расходов». Каждую ночь во время обязательного распития на вокзале он терял все, что имел, и после трех замен очков в течение одной недели я отказала ему в четвертой. С тех пор он терял их все реже и самостоятельно мог раздобыть новые. Вскоре мы выработали некое неявное равновесие в отношении подарков и поддержки, опосредованное тонко разделяемым чувство юмора. Он бесконечно манипулировал мной, то интерпретируя нашу «сбалансированную» сделку в свою пользу, то обращаясь ко мне как к традиционной русской *хозяйке*, «матроне», которая должна была заботиться обо всех его потребностях по мере их возникновения, любя, по-матерински и заботливо — до тех пор, пока ему снова не становилось выгодно определять наши отношения как «сугубо деловые». Я настаивала на последней интерпретации, но исходя из собственной выгоды. В то же самое время, мы относились к этой игре с некоторым чувством иронической дистанции, что делало возможным посмеяться вместе над нашими взаимными попытками эксплуатировать друг друга. Парадоксальным образом, это были очень теплые и откровенные отношения, хоть и запятнанные изначально неравенством в распределении власти. Независимо от того, как много раз он триумфально покидал поле боя с существенным трофеем из моего кошелька, я бы в целом отдала ему победу в этой игре за тот простой факт, что я могла пойти домой и получить впоследствии бенефиты от этой книги о нем, в то время как он должен был оставаться и быть разбитым, каким он был всякий раз после распивания моих наличных. Мы делали вид, что этой разницы не существует, и иногда наши отношения чувствовались почти как дружба. Тем не менее, я отказываюсь называть любого из моих бездомных информантов «друзьями». Это было бы цинично; я не была готова и не могла сделать для них то, что обе стороны ожидают от того, что понимается как «дружба». «Друзья» в этой книге это не-бездомные россияне, кого я узнала в ходе этого проекта или независимо от него.

Как я более подробно покажу в Главе 6, алкогольная зависимость Вовы вышла из-под контроля летом. Поскольку он пропускал наши встречи, это значило, что для разрушения себя он использовал не те деньги, которые получал от меня; тем не менее, я чувствовала стыд, желая помочь ему и понимая, что я ничего не могу сделать. Осенью он

немного окреп, но когда я уезжала в Швецию в ноябре, он снова был в очень плохом состоянии. Мы так никогда и не обсудили это. Вова был так же отстранен от себя, как и от своих экономических отношений со мной, и он относился к своей «деградации» (как другие обитатели вокзала называли это состояние) со смесью отрицания и иронии. Вообще, это было его отношение к жизни в целом, за исключением пары тех редких случаев, когда он был пьян настолько, что просто падал в мои объятия и плакал. Обычно ему удавалось пройти через это играючи. В зависимости от ситуации, он вел себя как непослушный школьник, опытный преступник или наученный жизнью бомж. (Вова был один из многих, кто не возражал против этого эпитета, но очевидно, что мое исследование придавало ему некоторое достоинство — и это обеспечивало ему работу). За каждой маской скрывался придворный шут, наблюдавший за эффектами, которые его проделки оказывали на меня и других. Единственная роль, которую он не играл с долей иронии, была роль доктора — его профессия в прошлой жизни — которая, как я полагаю, была единственной ролью, которую он рассматривал как достаточно реальную, чтобы принимать ее всерьез.

Он был далеко не единственный в том, что отпускал шутки о своей жалкой реальности или прибегал к выпивке, чтобы оплакивать ее вслух. Эта эмоциональная дистанция от самого себя и своей судьбы, согласно Вове и другим, одно из большинства важных условий для выживания. Лишь недавно перемещенные люди без стигматизированного прошлого были готовы делиться своим отчаянием и страданиями в том виде, в каком они их переживали. Тот или другой — даже люди, которых я знала очень хорошо — просто отказывались комментировать свое прошлое, но большинство людей с долгой историей бездомности или заключения стремились относиться к потерям и обидам в прошлом и бездомности в настоящем с заметной долей самоиронии или даже сарказма. Это может выглядеть циничным, но эта правда — это то, что делало мое поле как удивительным и прикольным, так и глубоко трагичным — в свете периодических всхлипываний.

Это трудно, если не сказать невозможно, написать об этих людях в ключе, отличном от того, который они мне дали. Мое письмо часто напоминает их речь — отстраненное, отрывистое, иногда на грани иронии. Не единожды я пыталась написать о тех процессах, которые могут привести к подобным формам самовыражения; о субъективных переживаниях, которые, как я полагаю, охватывают эти метонимические айсберги бодрых панчлайнов; и о чувствах, которые могли быть скрыты за каждой горой молчания, возвышающейся передо мной. Каждая попытка оставляла меня с тошнотворным чувством, будто я пытаюсь ощупывать чьи-то интимные места, как если бы я трогала Вову за штаны или препарировала внутренности знакомого человека. Точно так же я пыталась рассказать более подробно о моих собственных чувствах, но всегда испытывала тревожное чувство, буду я краду место

у людей, о которых хотела написать. Когда я говорила им, что я собиралась написать об их жизнях, я подразумевала, и они так это понимали, что мы разговариваем о внешнем мире, в котором они живут, не о внутреннем, и наконец я решила передавать их опыты в той же самой манере, как они мне рассказывали, без дальнейших комментариев. Мне кажется, этого достаточно, чтобы передать суть этой истории — что такое быть никому не нужным и что значит быть человеком.

Литература

1. *Гилинский, Я., Соколов, В.* Бездомность в России: вчера, сегодня, завтра // Петербургские Чтения. 1993. № 1.
2. *Гутов, Р., Никифоров, А.* Бездомность и тенденции ее развития // Народонаселение. 2001. № 4. С. 117–121.
3. *Ерофеев, В.* Москва — Петушки. Петербург: Издательство «Союз», Союз Интернационалистов, 1991.
4. *Завьялов, Ф. Н., Спиридонова, Е. М.* Уровень и образ жизни бомжей // Социологические исследования. 2000. № 2. С. 63–68.
5. *Карлинский, И.* Анализ социального и правового положения бездомных в современной России. СПб.: Типография «Дельта», 2004.
6. *Лиходей, О. А.* Субъективные факторы маргинализации. Доклад на конференции «Ценности советской культуры в контексте глобальных тенденций XXI века», 6 июня 2003 // Институт международного бизнеса и коммуникации, Петербург, 2003. [Online] <http://www.ibci.ru/konferencia/page/statya_k22.htm> [Дата обращения] 07.03.2025.
7. На Дне. Tell Us Your Life/Расскажи нам свою историю. Петербург, 1999.
8. *Нильсен, Ф. З.* Глаз бури. Петербург: Алетейя, 2004.
9. *Осинский, И., Хабаева, И., Балдаева, И.* Бездомные — социальное дно общества // Социологические исследования. 2003. No 1. С. 53–58.
10. *Соловьева, З.* Реабилитация бездомных: исследование «Ночлежки» // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. №4 (3). С. 92–108.
11. *Стариков, Е.* Маргиналы, или размышления на старую тему: «Что с нами происходит?» // Знамя. 1998. № 10. С. 133–162.
12. *Юликова, Е. П., Новикова, А. Л., Маршак, А. Л.* Проблемы лиц без определенного места жительства (бомж) и пути их решения. Москва: Министерство труда и социального развития Российской Федерации: Центральное отраслевое бюро научно-технической информации и пропаганды, 1997.
13. *Юликова, Е. П., Скляров, В. Ф.* Социальная защита бомжей // Социологические исследования. 1994. № 10. С.137–139.
14. *Arnstberg, K. O. & Borén, Th.* (eds.) Everyday Economy in Russia, Poland and Latvia. Södertörn Academic Studies, Stockholm, 2003.
15. *Ashwin, S.* Introduction: Gender, state, and society in Soviet and post-Soviet Russia // Gender, State, and Society in Soviet and Post-Soviet Russia. London: Routledge, 2000. P. 1–29.
16. *Bahr, H. M.* Skid Row: An Introduction to Disaffiliation. New York: Oxford University Press, 1973.

17. Barker, A. (ed.). Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev. Durham, London: Duke University Press, 1999.
18. *Bauman, Z.* Wasted Lives: Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity Press, 2004.
19. *Beigulenko, Y.* Homelessness in Russia: The scope of the problem and the remedies in place // Homelessness: Exploring the New Terrain. Bristol: Policy Press, 1999. P. 219–238.
20. *Berdahl, D.* Introduction: An anthropology of Postsocialism // Altering States: Ethnographies of Transformation in Eastern Europe and in the Former Soviet Union. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. P. 1–14.
21. *Bodungen, A.* Homelessness in Russia: A Report. New York: Charities Aid Foundation, 1994.
22. *Boon, J.* Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology the Comparative Study of Cultures, Histories, Religions, and Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
23. *Borneman, J.* After the Wall: East meets West in the new Berlin. New York: Basic Books, 1991.
24. *Bourdieu, P.* The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press, 1990.
25. *Buckley, C.* The myth of managed migration: Migration control and market in the Soviet Period // Slavic Review. 1995. Vol. 54. No 4. P. 896–916.
26. *Burawoy, M, Verdery, K.* Introduction // Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham: Rowman & Littlefield, 1999. P. 1–17.
27. *Caldwell, M.* Not By Bread Alone: Social Support in the New Russia. Berkeley: University of California Press, 2004.
28. *Carrithers, M.* An alternative history of the self // The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History. Cambridge: Cambrigde University Press, 1985. P. 234–256
29. *De Certeau, M.* The Practice of Everyday Life. Berkley: University of California Press, 1984.
30. *Desjarlais, R. R.* Shelter Blues: Sanity and Selfhood Among the Homeless. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1997.
31. *Desjarlais, R. R.* Shelter Blues: Sanity and Selfhood Among the Homeless. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1997.
32. *Dordick, G. A.* Something Left to Lose: Personal Relations and Survival Among New York's Homeless. Philadelphia: Temple University Press, 1997.
33. *Douglas, M.* Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: ARK Paperbacks, 1966.
34. *Easton, P.* The rock music community // Soviet Youth Culture. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 45–82.
35. *Farmer, P.* An anthropology of structural violence // Current Anthropology. 2004. Vol. 45. No 3. P. 305–325.
36. *Foucault, M.* Discipline and Punish: The Birth of the Prison. London: Allen Lane, 1977.
37. *Foucault, M.* Diskursens ordning. Stockholm, Stehag: Symposion, 1993.
38. *Fujimura, C.* Adult stigmatization and the hidden power of homeless children in Russia // Demokratizatsiia. 2002. Vol. 10. No 1. P. 37–47.
39. *Graham, M.* Classifications, Persons and Policies: Refugees and Swedish Welfare Bureaucracy. Stockholm University: Department of Social Anthropology, 1999.
40. *Grant, B.* In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas. Princeton: Princeton University Press, 1995.
41. *Handelman, D.* Introduction: The idea of bureaucratic organisation // Social Analysis. 1981. No 9. P. 5–23.
42. *Harris, G.* Concepts of individual, self, and person in description and analysis // American Anthropologist. 1989. No 91. P. 599–611.

43. *Herzfeld, M.* The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy. New York: Berg Publishers, 1992.
44. *Humphrey, C.* Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
45. *Humphrey, C.* An anthropological view of barter in Russia // Seabright, Paul (ed.) The Vanishing Rouble: Barter Networks and Non-Monetary Transactions in Post-Soviet Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 2000a.
46. *Humphrey, C.* How is barter done? The social relations of barter in provincial Russia // Seabright, Paul (ed.) The Vanishing Rouble: Barter Networks and Non-Monetary Transactions in Post-Soviet Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 2000b.
47. *Humphrey, C.* Does the category 'postsocialist' still make sense? // Postsocialism: Ideals, Iideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge, 2002. P. 12–15.
48. *Humphreys, R.* No Fixed Abode: A History of Responses to the Roofless and the Rootless in Britain. Basingstoke: Macmillan, 1999.
49. *Järvinen, M.* De nye hjemlose, kvinder, fattigdom, vold. Holte: Soc-Pol, 1993.
50. *Kennett, P.* Homelessness, citizenship and social exclusion // Homelessness: Exploring the New Terrain. Bristol: Policy Press, 1999. P. 37–60.
51. *Kharkhordin, O.* The Individual and the Collective in the Soviet Union. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
52. *Kleinman, A., Das, V., Lock, M.* Social Suffering. Berkeley: University of California Press, 1997.
53. *Koegel, P.* Through a different lens: An anthropological perspective on the homeless mentally ill // Culture, Medicine and Psychiatry. 1992. No 16. P. 1–22.
54. *Ledeneva, A.* Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
55. *Lemon, A.* "Your eyes are green like dollars": Counterfeit cash, national substance, and currency apartheid in 1990s Russia // Cultural Anthropology. 1998. Vol. 13. No 1. P. 22–55.
56. *Lindquist, G.* Conjuring Hope: Healing and Magic in Contemporary Russia. New York: Berghan Books, 2005.
57. *London, J.* Avgrundens folk. Stockholm: Tiden, 1974 [1903].
58. *Malkki, L.* National geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees // Cultural Anthropology. 1992. Vol. 7. No 1. P. 24–44.
59. *Markowitz, F.* Russkaia druzhba: Russian friendship in American and Israeli contexts // Slavic Review. 1991. Vol. 50. No 3. P. 637–645.
60. *Mathieu, A.* The Medicalization of Homelessness and the Theater of Repression // Medical Anthropology Quarterly. 1993. Vol. 7. No 2. P. 170–184.
61. *Mauss, M.* A category of the human mind: the notion of person; the notion of self // The Category of the Person: Anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambrigde University Press. 1985 [1938]. P. 1–25.
62. *Medvedev, S.* A general theory of Russian space: A gay science and a rigorous science // Alternatives. 1997. Vol. 22. No 4. P. 523–553.
63. *Nazpary, J.* Post-Soviet Chaos: Violence and Dispossession in Kazakhstan. London: Sterling: Pluto Press, 2002.
64. *Orwell, G.* Down and Out in Paris and London. London, Penguin, 1999 [1933].
65. *Passaro, J.* The Unequal Homeless: Men on the Streets, Women in their Place. New York: Routledge, 1996.
66. *Pesmen, D.* Russia and Soul: An Exploration. Ithaka: Cornell University Press, 2000.
67. *Pilkington, H.* (ed.). Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia. London: Routledge, 1996.
68. *Pilkington, H.* Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia. London: Routledge, 1998.

69. *Pilkington, H.* Russia's Youth and its Culture: A Nation's Constructors and Constructed. London: Routledge, 1994.
70. *Ries, N.* Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. Ithaca: Cornell University Press, 1997.
71. *Rosaldo, M.* Toward an anthropology of self and feeling // Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 137–157.
72. *Rosengren, A.* Mellan ilska och hopp: om hemlöshet, droger och kvinnor. Stockholm: Carlsson, 2003.
73. *Sahlin, I.* Begreppet "hemlös": en kritisk granskning av använda definitioner. Karlskrona: Boverket, 1992.
74. *Sahlins, M.* Stone Age Economics. London: Tavistock, 1984 [1974].
75. *Scheper-Hughes, N., Bourgois, P.* (ed.). Violence in War and Peace: An Anthology. Oxford: Blackwell, 2004.
76. *Scott, J.* Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.
77. *Scott, J.* Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.
78. *Shlapentokh, V.* Love, Marriage, and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices. New York: Praeger, 1984.
79. *Shlapentokh, V.* Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia. New York: Oxford University Press, 1989.
80. *Snow, D. A., Anderson, L.* Down on their Luck: A Study of Homeless Street People. University of California Press, 1993.
81. *Snow, David A., Mulcahy, M.* Space, politics, and the survival strategies of the homeless // The American Behavioural Scientist. 2001. Vol. 45. No 1. P. 149–172.
82. *Sokolov, V.* Homelessness in St. Petersburg. Petersburg in the Early 90's: Crazy, Cold, Cruel. St Petersburg: Blagotvoritelniy Fond Nochlezhka, 1994.
83. *Sperling, V.* Organizing Women in Contemporary Russia: Engendering Transition. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
84. *Thörn, C.* Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshet. Växjö: Ègalité, 2004.
85. *Turner, B.* Hemlöshet och bostadspolitik för alla // Hemlöshet: Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma? Stockholm: Carlsson, 2000.
86. *Turner, V.* Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Ithaca: Cornell University Press, 1974.
87. *Wacquant, L.* Comment on "An Anthropology of Structural Violence" by Paul Farmer // Current Anthropology. 2004. Vol. 45. No 3. P. 322.
88. *Wacquant, L.* Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the Pitfalls of Urban Ethnography // American Journal of Sociology. 2002. Vol. 107. No 6. P. 1468–1532.
89. *Wagner, D.* Checkerboard Square: Culture and Resistance in a Homeless Community. Boulder: Westview Press, 1993.
90. *Wallace, S. E.* Skid Row as a Way of Life. Totowa: Bedminister Press, 1958.
91. *Wallraff, G.* 13 icke önskvärda reportage [13 unerwünschte Reportagen]. Stockholm: PAN/Norstedt, 1976 [1969].
92. *Wardhaugh, J.* Sub City: Young People, Homelessness and Crime. Aldershot: Ashgate, 2000.
93. *Wright, T.* Out of Place: Homeless Mobilizations, Subcities, and Contested Landscapes. Albany: State University of New York Press, 1997.
94. *Zykov, O.* Russia // Homelessness in the United States, Europe, and Russia: A Comparative Perspective. London: Bergin and Garvey, 1999. P. 153–168.

Tova Höjdestrand

Needed by Nobody Homelessness, Humiliation, and Humanness in Post-Socialist Russia

Tova Höjdestrand is Associate professor of Social Anthropology at Lund University, Sweden. Her doctoral dissertation and first book Needed by Nobody (Cornell University Press, 2009) is focused on processes of social exclusion, informal economy, survival strategies and social stigmatization in Post-Socialist Russia. Her present research traverse the areas of nationalism, social movements, transnational governance, gender and sexuality.

Abstract: The text is the translation of the first part of *Needed by Nobody* book written by anthropologist Tova Höjdenstrand based on her ethnographic research of homelessness in St. Petersburg in the late 1990s.

Keywords: homelessness, social policy, unstable housing and rough sleeping, inequality, ethnography.

Translated from English by **Maria Vyatchina**.

References

1. Arnstberg, K. O. & Borén, Th. (eds.) (2003) *Everyday Economy in Russia, Poland and Latvia*, Södertörn Academic Studies, Stockholm.
2. Ashwin, S. (2000) Introduction: Gender, state, and society in Soviet and post-Soviet Russia, in *Gender, State, and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*, London: Routledge, pp. 1–29.
3. Bahr, H. M. (1973) *Skid Row: An Introduction to Disaffiliation,* New York: Oxford University Press.
4. Barker, A. (ed.). (1999) *Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev,* Durham, London: Duke University Press.
5. Bauman, Z. (2004) *Wasted Lives: Modernity and its Outcasts,* Cambridge: Polity Press.
6. Beigulenko, Y. (1999) Homelessness in Russia: The scope of the problem and the remedies in place, in *Homelessness: Exploring the New Terrain,* Bristol: Policy Press, pp. 219–238.
7. Berdahl, D. (2000) Introduction: An anthropology of Postsocialism, in *Altering States: Ethnographies of Transformation in Eastern Europe and in the Former Soviet Union,* Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 1–14.
8. Bodungen, A. (1994) *Homelessness in Russia: A Report*, New York: Charities Aid Foundation.
9. Boon, J. (1982) *Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology in the Comparative Study of Cultures, Histories, Religions, and Texts,* Cambridge: Cambridge University Press.
10. Borneman, J. (1991) *After the Wall: East meets West in the new Berlin,* New York: Basic Books.
11. Bourdieu, P. (1990) *The Logic of Practice,* Stanford: Stanford University Press.
12. Buckley, C. (1995) The myth of managed migration: Migration control and market in the Soviet Period, *Slavic Review,* Vol. 54, No 4, pp. 896–916.

13. Burawoy, M, Verdery, K. (1999) Introduction, in *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World*, Lanham: Rowman & Littlefield, pp. 1–17.
14. Caldwell, M. (2004) *Not By Bread Alone: Social Support in the New Russia,* Berkeley: University of California Press.
15. Carrithers, M. (1985) An alternative history of the self, in *The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History*, Cambridge: Cambrigde University Press, pp. 234–256
16. De Certeau, M. (1984) *The Practice of Everyday Life*, Berkley: University of California Press.
17. Desjarlais, R. R. (1997) *Shelter Blues: Sanity and Selfhood Among the Homeless,* Philadelphia: University of Pennsylvania.
18. Dordick, G. A. (1997) *Something Left to Lose: Personal Relations and Survival Among New York's Homeless,* Philadelphia: Temple University Press.
19. Douglas, M. (1966) *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*, London: ARK Paperbacks.
20. Easton, P. (1989) The rock music community, in *Soviet Youth Culture,* Bloomington: Indiana University Press, pp. 45–82.
21. Erofeev, V. (1991). *Moskva — Petushki*. St. Petersburg: Izdatelstvo 'Soiuz', Soiuz Internatsionalistov. (In Russ.)
22. Farmer, P. (2004) An anthropology of structural violence, *Current Anthropology*, Vol. 45, No 3, pp. 305–325.
23. Foucault, M. (1977) *Discipline and Punish: The Birth of the Prison,* London: Allen Lane.
24. Foucault, M. (1993) *Diskursens ordning*, Stockholm, Stehag: Symposion.
25. Fujimura, C. (2002) Adult stigmatization and the hidden power of homeless children in Russia, *Demokratizatsiia*, Vol. 10, No 1, pp. 37–47.
26. Gilinskiy, Y., Sokolov, V. (1993). Bezdomnost' v Rossii: vchera, segodnia, zavtra. *Peterburgskie Chtenia*, No 1. (In Russ.)
27. Graham, M. (1999) *Classifications, Persons and Policies: Refugees and Swedish Welfare Bureaucracy,* Stockholm University.
28. Grant, B. (1995) *In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas,* Princeton: Princeton University Press.
29. Gutov, R., Nikiforov, A. (2001). Homelessness and trends in its development. *Narodonaselenie,* No 4, 117–121. (In Russ.)
30. Handelman, D. (1981) Introduction: The idea of bureaucratic organisation, *Social Analysis*, No 9. pp. 5–23.
31. Harris, G. (1989) Concepts of individual, self, and person in description and analysis, *American Anthropologist*, No 91, pp. 599–611.
32. Herzfeld, M. (1992) *The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy,* New York: Berg Publishers.
33. Humphrey, C. (1983) *Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm,* Cambridge: Cambridge University Press.
34. Humphrey, C. (2000a) An anthropological view of barter in Russia // Seabright, Paul (ed.) *The Vanishing Rouble: Barter Networks and Non-Monetary Transactions in Post-Soviet Societies*, Cambridge: Cambridge University Press.
35. Humphrey, C. (2000b) How is barter done? The social relations of barter in provincial Russia // Seabright, Paul (ed.) *The Vanishing Rouble: Barter Networks and Non-Monetary Transactions in Post-Soviet Societies*, Cambridge: Cambridge University Press.

36. Humphrey, C. (2002) Does the category 'postsocialist' still make sense? in *Postsocialism: Ideals, Iideologies and Practices in Eurasia,* London: Routledge, pp. 12–15.
37. Humphreys, R. (1999) *No Fixed Abode: A History of Responses to the Roofless and the Rootless in Britain*, Basingstoke: Macmillan.
38. Järvinen, M. (1993) *De nye hjemlose, kvinder, fattigdom, vold,* Holte: Soc-Pol.
39. Karlinsky, I. (2004). *An Analysis of the Social and Legal Situation of the Homeless in Contemporary Russia.* St. Petersburg: Delta. (In Russ.)
40. Kennett, P. (1999) Homelessness, citizenship and social exclusion, in *Homelessness: Exploring the New Terrain*, Bristol: Policy Press, pp. 37–60.
41. Kharkhordin, O. (2000) *The Individual and the Collective in the Soviet Union,* Chicago: University of Chicago Press.
42. Kleinman, A., Das, V., Lock, M. (1997) *Social Suffering,* Berkeley: University of California Press.
43. Koegel, P. (1992) Through a different lens: An anthropological perspective on the homeless mentally ill, *Culture, Medicine and Psychiatry*, No 16, pp. 1–22.
44. Ledeneva, A. (1998) *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange,* Cambridge: Cambridge University Press.
45. Lemon, A. (1998) "Your eyes are green like dollars": Counterfeit cash, national substance, and currency apartheid in 1990s Russia, *Cultural Anthropology*, Vol. 13, No 1, pp. 22–55.
46. Likhodei, O.A. (2003). *Sub'ektivnye faktory marginalizatsii.* Paper given at the conference Tsennosti sovetskoi kul'tury v kontekste global'nykh tendentsii XXI veka, June 6th 2003, at the Institute for International Business and Communications, St. Petersburg. (In Russ.) [Online] Available at: <http://www.ibci.ru/konferencia/page/statya_k22.htm> [Accessed: 07.03.2025].
47. Lindquist, G. (2005) *Conjuring Hope: Healing and Magic in Contemporary Russia,* New York: Berghan Books.
48. London, J. (1974) [1903] *Avgrundens folk*, Stockholm: Tiden.
49. Malkki, L. (1992) National geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees, *Cultural Anthropology*, Vol. 7, No 1, pp. 24–44.
50. Markowitz, F. (1991) Russkaia druzhba: Russian friendship in American and Israeli contexts, *Slavic Review*, Vol. 50, No 3, pp. 637–645.
51. Mathieu, A. (1993) The Medicalization of Homelessness and the Theater of Repression, *Medical Anthropology Quarterly*, Vol. 7, No 2, pp. 170–184.
52. *Mauss, M.* (1985) [1938] A category of the human mind: the notion of person; the notion of self, in *The Category of the Person: Anthropology, philosophy, history*, Cambridge: Cambrigde University Press, pp. 1–25.
53. Medvedev, S. (1997) A general theory of Russian space: A gay science and a rigorous science, *Alternatives,* Vol. 22, No 4, pp. 523–553.
54. Na Dne (ed.). (1999). *Tell Us Your Life/Rasskazhi svoiu istoriu.* St Petersburg: Isdatelskiy dom Na Dne. (In Russ.)
55. Nazpary, J. (2002) *Post-Soviet Chaos: Violence and Dispossession in Kazakhstan,* London: Sterling: Pluto Press.
56. Nielsen, F. S. (2004). *Glaz buri.* St Petersburg: Aleteiia. (In Russ.)
57. Orwell, G. (1999) [1933] *Down and Out in Paris and London,* London, Penguin.
58. Osinskii, I., Khabaeva, I., Baldaeva, I. (2003). Bezdomnye — social'noe dno obshhestva. *Sotsiologicheskie Issledovania*, No 1, 53–58. (In Russ.)
59. Passaro, J. (1996) *The Unequal Homeless: Men on the Streets, Women in their Place,* New York: Routledge.
60. Pesmen, D. (2000) *Russia and Soul: An Exploration,* Ithaka: Cornell University Press.

61. Pilkington, H. (1994) *Russia's Youth and its Culture: A Nation's Constructors and Constructed,* London: Routledge.
62. Pilkington, H. (1998) *Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia,* London: Routledge.
63. Pilkington, H. (ed.). (1996) *Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia,* London: Routledge.
64. Ries, N. (1997) *Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika*, Ithaca: Cornell University Press.
65. Rosaldo, M. (1984) Toward an anthropology of self and feeling, in *Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion,* Cambridge: Cambridge University Press, pp. 137–157.
66. Rosengren, A. (2003) *Mellan ilska och hopp: om hemlöshet, droger och kvinnor*, Stockholm: Carlsson.
67. Sahlin, I. (1992) *Begreppet "hemlös": en kritisk granskning av använda definitioner*, Karlskrona: Boverket.
68. Sahlins, M. (1984) [1974] *Stone Age Economics*, London: Tavistock.
69. Scheper-Hughes, N., Bourgois, P. (ed.). (2004) *Violence in War and Peace: An Anthology,* Oxford: Blackwell.
70. Scott, J. (1985) *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance,* New Haven: Yale University Press.
71. Scott, J. (1998) *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed,* New Haven: Yale University Press.
72. Shlapentokh, V. (1984) *Love, Marriage, and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices*, New York: Praeger.
73. Shlapentokh, V. (1989) *Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia,* New York: Oxford University Press.
74. Snow, D. A., Anderson, L. (1993) *Down on their Luck: A Study of Homeless Street People,* University of California Press.
75. Snow, David A., Mulcahy, M. (2001) Space, politics, and the survival strategies of the homeless, *The American Behavioural Scientist*, Vol. 45, No 1, pp. 149–172.
76. Sokolov, V. Homelessness in St. Petersburg. *Petersburg in the Early 90's: Crazy, Cold, Cruel.* St Petersburg: Blagotvoritelniy Fond Nochlezhka, 1994. (In Russ.)
77. Solovieva, Z. (2001). Reabilitatsia bezdomnykh: issledovanie "nochlezhki". *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, 4 (3), 92–108. (In Russ.)
78. Sperling, V. (1999) *Organizing Women in Contemporary Russia: Engendering Transition,* Cambridge: Cambridge University Press.
79. Starikov, E. (1989). Marginaly, ili razmyshleniia na staruiu temu: "Chto s nami proiskhodit?" *Znamia,* No 10, 133–162. (In Russ.)
80. Thörn, C. (2004) *Kvinnans plats(er): bilder av hemlöshe*t, Växjö: Ègalité.
81. Turner, B. (2000) Hemlöshet och bostadspolitik för alla, in *Hemlöshet: Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma?* Stockholm: Carlsson.
82. Turner, V. (1974) *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society,* Ithaca: Cornell University Press.
83. Wacquant, L. (2002) Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the Pitfalls of Urban Ethnography, *American Journal of Sociology*, Vol. 107, No 6, pp. 1468–1532.
84. Wacquant, L. (2004) Comment on "An Anthropology of Structural Violence" by Paul Farmer, *Current Anthropology*, Vol. 45, No 3, p. 322.
85. Wagner, D. (1993) *Checkerboard Square: Culture and Resistance in a Homeless Community,* Boulder: Westview Press.
86. Wallace, S. E. (1958) *Skid Row as a Way of Life,* Totowa: Bedminister Press.

87. Wallraff, G. (1976) [1969] *13 icke önskvärda reportage*, Stockholm: PAN/Norstedt.
88. Wardhaugh, J. (2000) *Sub City: Young People, Homelessness and Crime*, Aldershot: Ashgate.
89. Wright, T. (1997) *Out of Place: Homeless Mobilizations, Subcities, and Contested Landscapes*, Albany: State University of New York Press.
90. Yulikova, E. P., M. A Novikova, A. L Marsjak. (1997). *Problemy lits opredelennogo mesta zhitel'stvo (bomzh) i puti ikh resheniia*. Moscow: Ministerstvo tryda i sotsialnogo razvitija Rossijskoj Federatsii: Tsentralnoe otraselevoe biuro Naytjno-Technitjeskoj informatsii i propagandy. (In Russ.)
91. Yulikova, E. P & V. F Sklyarov. (1994). Sotsial'naia zashchita bomzhi. *Sotsiologicheskye Issledovanya*, No 10, 137–139. (In Russ.)
92. Zav'ialov, F. N, E. M. Spiridonova. (2000). Uroven i obraz zhizni bomzhei. *Sotsiologitjeskie Issledovania*, No 2, 63–68. (In Russ.)
93. Zykov, O. (1999) Russia, in *Homelessness in the United States, Europe, and Russia: A Comparative Perspective*, London: Bergin and Garvey, pp. 153–168.